This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

# САФРУТЪ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИКЪ

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Safrut.

# САФРУТЪ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИКЪ

★

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
Л. ЯФФЕ

★

ИЗДАТЕЛЬСТВО С. Д. ЗАЛЬЦМАНЪ
БЕРЛИНЪ

PG3227
S3
V.1

★

Copyright
by the S. D. Saltzmann Verlag
Berlin 1922

★

Печать Библіографическаго Института въ Лейпцигѣ

*Х. Н. Бялик*

**Галаха и Агада**

*С. Черниховскій*

**Идилліи**

**I. Завѣтъ Авраама**

**II. Вареники пер. В. Ходасевича**

*Х. Гринберг*

**Борьба за національную индивидуальность**

*Х. Н. Бялик*

**Передъ книжнымъ шкафомъ пер. О. Румера**

*С. Ан—скій*

**У источника (сказанія)**

**I. Встрѣча / II. Осмѣяніе**

*И. Бунинъ*

**Благовѣстіе**

*Г. Шофманъ*

**Разсказы**

**Ганя / На посту / У дороги**

*В. Брюсовъ*

**Библія**

*Х. Н. Бяликъ*

**Подъ оболочкой языка**

*Л. Яффе*

**Стихотворенія**
**Erez Israel / Въ омаровой мечети**
**Въ долинѣ Сарона**

*С. Дубновъ*

**Воспоминанія объ Абрамовичѣ**
**Менделе-Мохеръ-Сфоримъ**

*С. Маршакъ*

**Іерусалимъ**

*Х. Тадиръ*

**Мессія / Отступникъ**

*Андрей Соболь*

**Встань и иди**

*

Х. Н. БЯЛИКЪ

# ГАЛАХА И АГАДА

*

# ГАЛАХА И АГАДА

У Галахи—лицо суровое, у Агады—улыбающееся. Первая педантична, строга, тверда какъ желѣзо—сфера справедливости; вторая — уступчива, снисходительна, мягка — сфера милосердія. Первая даетъ властныя велѣнія и опредѣляетъ точную мѣру ихъ выполненія: ея требованія и запреты — строго категоричны. Вторая увѣщеваетъ, соразмѣряясь съ человѣческими силами и наклонностями: ея «да» и «нѣтъ» одинаково не настойчивы. Первая — внѣшность, матерія, дѣйствіе; вторая — сокровенность, духъ, — душевное напряженіе. Тутъ окаменѣвшій консерватизмъ, долгъ, порабощеніе; тамъ безпрерывное обновленіе, свобода, добрая воля. Таковы Галаха и Агада въ жизни. Въ литературѣ же Галаха характеризуется своей прозаической сухостью, сжатымъ и устойчивымъ стилемъ, тусклымъ языкомъ, — господствомъ разума, Агада же — поэтическимъ ароматомъ, стремительнымъ и подвижнымъ стилемъ, многоцвѣтнымъ языкомъ — сферой непосредственнаго чувства.

Линію такихъ различительныхъ признаковъ между Галахой и Агадой можно продолжить до безконечности, и въ каждомъ изъ нихъ будетъ заключаться извѣстная доля правды, но вытекаетъ ли отсюда, какъ многіе полагаютъ, что Галаха и Агада являются двумя противоположными, соперничающими началами?

Сторонники этого взгляда смѣшиваютъ предметъ съ его состояніями и форму съ матеріей, напоминая собою тѣхъ, кому ледъ и вода представлялись двумя различными элементами. На самомъ дѣлѣ Галаха и Агада также являются ни чѣмъ инымъ, какъ двуединымъ элементомъ, — двумя ликами одного и того же существа. Онѣ относятся другъ къ другу, какъ слово — къ мысли и чувству или какъ дѣйствіе и конкретный образъ относятся къ слову. Галаха есть кристаллизованная Агада, ея обязательный конечный выводъ; Агада же, въ свою очередь, есть раствореніе Галахи. Трепещущій голосъ запросовъ сердца въ ихъ порываніи къ вожделѣнной цѣли — это Агада; мѣсто отдохновенія, временное удовлетвореніе и утоленіе этихъ запросовъ — это Галаха. Сновидѣніе тяготѣетъ къ своему разрѣшенію, желаніе — къ дѣйствію, мысль — къ слову, цвѣтъ — къ плоду, а Агада — къ Галахѣ. Но и плодъ уже таитъ въ себѣ зерно новаго цвѣтенія. И Галаха, возвышаю-

щаяся до степени символа — а таковая существуетъ, какъ видно будетъ изъ дальнѣйшаго — сама становится источникомъ новой Агады. Живая и здоровая Галаха есть Агада въ прошломъ или будущемъ, и наоборотъ. Ихъ начала и концы заложены другъ въ другѣ. Что, въ сущности, представляютъ собою всѣ 613 постановленій еврейской религіи, если не полученную въ результатѣ длительнаго очистительнаго процесса квинтъ эссенцію древняго миѳа, легендъ и обычаевъ — живой Торы, Торы сердца и устъ, какъ бы витавшей въ воздухѣ впродолженіе ряда тысячелѣтій до наступленія періода ея кристаллизаціи въ видѣ законовъ, вырѣзанныхъ на камнѣ и начертанныхъ на пергаментѣ? Ученіе о жертвоприношеніяхъ, о ритуальной чистотѣ и нечистотѣ, о запрещенныхъ яствахъ коренится въ жреческомъ миѳѣ; воспоминательные обряды связаны съ національно-историческими сказаніями, а заповѣди объ отношеніи къ ближнимъ съ чувствомъ справедливости и состраданія, жившимъ въ сердцѣ народа и получившимъ свое выраженіе въ устахъ его пророковъ. Но и будучи записанными, онѣ все же еще не окаменѣвали, ибо на самомъ дѣлѣ «Тора сердца и устъ» ни на минуту не прекращала своего существованія, а ея живое и подвижное дыханье постоянно колыхалось и вѣяло надъ Писаніемъ, оживляя, расширяя или суживая его, а иногда и отмѣняя его, на время или навсегда, въ зависимости отъ новыхъ потребностей или даже отъ новыхъ идей и вѣрованій. Не только «Моисей установилъ, а пророкъ Іезекіиль отмѣнилъ» — какъ указывается въ Талмудѣ, но даже нѣкій «Даніилъ Хаята» не постѣснялся рѣзко отозваться объ одномъ строгомъ запретѣ* Пятикнижія, надѣясь, что когда-нибудь онъ будетъ отмѣненъ.

Процессы растворенія и кристаллизаціи въ Галахѣ и Агадѣ особенно рельефно обнаруживаются въ періоды «переворотовъ» и

* Въ виду особой рѣзкости его словъ, я ихъ приведу тутъ полностью. «Мидрашъ-Рабба» и «Когелетъ-Рабба» останавливаются на слѣдующемъ мѣстѣ изъ Экклезіаста: «опять видѣлъ я всякія угнетенія, какія совершаются подъ солнцемъ: и вотъ слезы угнетенныхъ, а утѣшителя у нихъ нѣтъ», и отъ руки угнетающихъ ихъ — насиліе, а утѣшителя у нихъ нѣтъ». Даніилъ Хаята относитъ эти слова къ положенію незаконнорожденныхъ, и толкуетъ ихъ слѣдующимъ образомъ: «и вотъ слезы угнетенныхъ» — ихъ родители грѣшили, почему же эти несчастные обречены на страданія? Отецъ совершилъ прелюбодѣяніе и далъ ему жизнь — чѣмъ же сынъ согрѣшилъ? (Почему же Пятикнижіе считаетъ его отверженнымъ отъ его народа?) «и отъ руки угнетающихъ ихъ — насиліе» — отъ руки высшаго суда во Израилѣ, отвергающаго ихъ *силой закона Торы;* «а утѣшителя у нихъ нѣтъ» — сказалъ Господь: мнѣ надлежитъ ихъ утѣшать, ибо въ *вдѣшнемъ мірѣ* они осквернены, а въ грядущіе дни сбудутся слова пророка Захаріи, сказавшаго о нихъ: «я вижу свѣтильникъ изъ чистаго золота».

конституированія новыхъ законовъ. Потерявшая свою цѣнность старая Галаха снова какъ бы опускается въ горнило сердца и растворяется въ Агаду, подобную или даже неподобную ей; послѣдняя-же возвращаясь оттуда въ рафинированномъ видѣ, отливается въ формы и дѣйствія, въ которыхъ она снова кристаллизуется въ Галаху, исправленную или обновленную. Галаха является, такимъ образомъ, не меньшимъ творчествомъ, чѣмъ Агада. Ея искусство самое великое въ мірѣ искусство жизни и проложенія жизненныхъ путей. Ея матеріалъ — живой человѣкъ со всѣми свойствами его души; ея орудіе — индивидуальное, общественное и національное воспитаніе; ея плоды — послѣдовательная цѣпь красивой жизни и красивыхъ дѣйствій, протореніе жизненнаго пути сквозь лабиринтъ индивидуальныхъ и соціальныхъ противорѣчій, достойное пребываніе человѣка на землѣ, улучшенный *укладъ жизни*. Ея произведенія не объединены и не сконцентрированы въ матеріалѣ, времени и мѣстѣ, подобно произведеніямъ другихъ искусствъ, какъ, напримѣръ, скульптуры, живописи, архитектуры, музыки или поэзіи. Мало по малу и штрихъ за штрихомъ они вырисовываются изъ всего комплекса жизненныхъ проявленій человѣка, дающихъ въ результатѣ общій итотъ, единую совершенную или не совершенную картину: Галаха есть воспитательное искусство, искусство — педагогъ для цѣлаго народа, и всѣ ея начертанія въ народной душѣ, какъ крупныя, такъ и мелкія, продиктованы вдохновеніемъ и высшей, прозорливой мудростью. День за днемъ и часъ за часомъ она усердно работаетъ надъ осуществленіемъ лишь единаго образа Божьяго въ человѣкѣ. Кельнскій Соборъ, Миланскій Соборъ, Notre Dame de Paris достигли совершенства красоты и стали такими, какими мы ихъ видимъ, благодаря усердію міровыхъ мастеровъ въ теченіе цѣлаго ряда столѣтій. Въ свое время каждый изъ нихъ отдавалъ свою жизнь и лучшія творческія силы работѣ, священной лишь для него одного, и не подлежитъ сомнѣнію, что только ихъ общимъ подчиненіемъ единой, центральной и священной для нихъ идеѣ объясняется столь счастливое завершеніе этихъ «божественныхъ твореній». Идея о воздвиженіи храма своему Богу — она именно витала передъ глазами всѣхъ этихъ мастеровъ, осѣняя ихъ творческимъ вдохновеніемъ; она именно и водила въ ихъ рукахъ циркулемъ, молоткомъ, рѣзцомъ и кистью, диктовала имъ каждый штрихъ и начертаніе и указывала каждый камень и кирпичъ, сложившіеся впослѣдствіи, послѣ столѣтій труда разъединенныхъ въ пространствѣ и времени людей, въ единое величественное зданіе. Евреи обладаютъ *своимъ* величественнымъ твореніемъ — святымъ и возвышеннымъ *днемъ*, «Принцессой — Саббатъ». Народное воображеніе превратило ее въ живое, облеченное плотью существо,

въ совершенство красоты. Это — та Суббота, которую Богъ привелъ въ Свой міръ по окончаніи первотворенія, дабы, говоря словами древняго сказанія, разрисованный и разукрашенный міръ-балдахинъ воспріялъ подъ свою сѣнь невѣсту; та суббота, которая была драгоцѣнностью Божіей въ Его извѣчной сокровищницѣ и для которой онъ нашелъ достойнаго жениха лишь въ лицѣ Израиля. По другому народному сказанію Суббота сидитъ, какъ принцесса, какъ «невѣста въ оправѣ своихъ подругъ», скрытая въ райскомъ чертогѣ за семью покоями, и шесть ея рабынь, шесть дней труда, прислуживаютъ ей. При ея вступленіи въ городъ всѣ обращаютъ къ ней свои взоры съ пороговъ своихъ и встрѣчаютъ ее привѣтствіемъ: «Гряди, невѣста, гряди, невѣста, суббота — королева!», а хасиды устраиваютъ ей встрѣчу въ открытомъ полѣ. Однажды она, грустная и омраченная, явилась во снѣ Ибнъ-Эзрѣ и вручила ему письмо къ своему избраннику-Израилю. Это знаменитая «грамота субботы». Всѣ еврейскіе поэты, отъ рабби Іегуды Галеви до Генриха Гейне, посвящали ей свои пѣсни и мелодіи. Развѣ она не совершенство сказочнаго, «агадическаго» произведенія? Развѣ она сама не является родникомъ жизни и святости для цѣлаго народа, источникомъ живого вдохновенія для поэтовъ и пѣвцовъ? И все же, кто скажетъ, кто разрѣшитъ вопросъ, чье она произведеніе и чему она обязана тѣмъ, чѣмъ она стала — Галахѣ или Агадѣ? Въ 524 страницахъ талмудической письменности, трактующихъ о субботѣ, агадическій матеріалъ почти совершенно отсутствуетъ. Эти страницы состоятъ преимущественно изъ галахическихъ разсужденій и деталей о тридцати девяти основныхъ работахъ, запрещенныхъ въ субботу, о развѣтвленіяхъ этихъ работъ и о точномъ установленіи предѣловъ того пространства, которое разрѣшается проходить въ день обязательнаго отдыха. Какой именно елей слѣдуетъ зажигать въ канунъ субботы, какіе именно предметы обременяютъ домашній скотъ, которому также повелѣно предоставить субботній отдыхъ, какъ устанавливаютъ «субботніе предѣлы» — сколько тутъ положено умственнаго труда, сколько тутъ потрачено остроты и тонкости на каждую мельчайшую деталь! Когда я перелистываю эти страницы и вижу передъ собою группы таннаевъ и амораевъ за работой, я говорю себѣ: поистинѣ художники жизни стоятъ передо мною, художники жизни, въ своей мастерской за работой! Такая колосальная духовная работа, муравьиная и титаническая въ одно и тоже время, проникнутая любовью и безграничной вѣрой, немыслима безъ вдохновенія. Не иначе, какъ единая возвышенная идея, единый величественный образъ субботы носился передъ, глазами всѣхъ этихъ разъединенныхъ людей, и этотъ именно духъ субботы собралъ ихъ воедино

изъ ряда поколѣній и сдѣлалъ ихъ соучастниками въ ея созиданіи и совершенствованіи. Всѣ эти своеобразныя діалектическія и казуистическія формулы, которыми пестрятъ талмудическіе дебаты по поводу соблюденія субботы, всѣ эти оградительныя и отграничительныя постановленія являются лишь все новыми художественными штрихами, дополнительными начертаніями на образѣ субботы, тѣми обязательными штрихами и начертаніями, безъ которыхъ она не могла бы стать тѣмъ, чѣмъ ей быть надлежитъ. И что явилось въ результатѣ всей этой кропотливой галахической работы, — день, весь *сотканный изъ Агады*. —

Такихъ примѣровъ немало. Таковъ Іомъ Кипуръ, такова Пасха, таковы и прочіе торжественные дни. Заключающійся въ нихъ элементъ красоты, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, очевиденъ. Всѣ они — прекрасныя произведенія, полны живого, оживляющаго содержанія и высокаго, возвышающаго смысла, несмотря на то, что всѣ они порождены строгой, жестокой Галахой и окружены со всѣхъ сторонъ галахическими «оградами». Въ то время, какъ художники другихъ народовъ сидѣли въ своихъ мастерскихъ и тонкимъ чутьемъ проникновенно устанавливали законы гармоніи въ ваятельномъ, напримѣръ, искусствѣ, имѣя въ виду услажденіе человѣческихъ чувствъ, въ это самое время еврейскіе мудрецы сидѣли въ своихъ школахъ и также вдохновенно, съ чрезвычайно яснымъ чутьемъ, устанавливали начала душевной гармоніи для *добрыхъ* дѣяній, имѣя этимъ въ виду украшеніе и улучшеніе самого человѣка, совершенствованіе людей. Мы не беремся судить, кому изъ нихъ надо отдать предпочтеніе. Мы только думаемъ, что какъ тамъ, такъ и тутъ, мы имѣемъ дѣло съ *творчествомъ*, съ воплотившимися идеями, съ идеалами, осуществленными въ дѣйствительности творческимъ духомъ человѣка; какъ тамъ, такъ и тутъ есть мѣсто для наиболѣе яркаго проявленія элементовъ красоты; какъ тамъ, такъ и тутъ нужны вдохновеніе и «Божія милость». Тутъ существуетъ только та же разница матеріала и средствъ, которая существуетъ и между отдѣльными отраслями общепризнанныхъ искусствъ, какъ, напримѣръ, между музыкой и живописью. Впрочемъ, есть еще и другая, существенная разница: произведенія общепризнанныхъ искусствъ, обращающіяся къ человѣку, какъ къ отдѣльному индивидууму и, какъ уже прежде указано, объединенныя и сконцентрированныя въ матеріалѣ, времени и пространствѣ, могутъ быть разсматриваемы сразу, въ одинъ пріемъ и на близкомъ разстояніи, между тѣмъ, какъ произведенія Галахи, обращающіяся также и ко всему коллективу и чрезвычайно разъединенныя отдѣльными своими частями въ матеріалѣ, времени и пространствѣ, могутъ восприниматься нашимъ созна-

ніемъ въ своей цѣльной формѣ, выявляющейся изъ всей совокупности ея составныхъ частей, лишь послѣ внимательнаго наблюденія и съ большой высоты. Если бы былъ воздвигнутъ большой городъ по величественному художественному замыслу архитектора-художника, мы могли бы познать цѣльный характеръ этого замысла и постичь совершенство его красоты лишь по его плану или съ высоты дозорной башни, но ужъ никоимъ образомъ не путемъ расхаживанія по отдѣльнымъ улицамъ, гдѣ детали заслоняютъ общее цѣлое. «Изъ-за деревьевъ не видно лѣса» есть древнее и мудрое изреченіе. Но уменьшается-ли изъ-за этого цѣнность и цѣльность самой идеи? Желающему наслаждаться ею мы скажемъ: «взойди на гору»!

Бываетъ все же, что и одна галахическая деталь порою раскрываетъ намъ таящійся въ ней міръ, полный агадической прелести. Трактатъ о субботѣ и добавленіе къ нему приводятъ, между прочимъ, слѣдующую галаху: «Всѣ священныя книги слѣдуетъ спасать (въ субботу) отъ пожара... Если онѣ написаны въ переводѣ на какой бы то ни было языкъ-египетскій, мидійскій, иламитскій, греческій — ихъ также надлежитъ спасать отъ пожара. Рабби Іоси говоритъ: «*не* слѣдуетъ спасать ихъ отъ пожара».

Маленькая галахическая деталь, споръ о незначительномъ предметѣ — не правда ли? Но кто станетъ отрицать, что эта маленькая и сухая галаха даетъ намъ въ чрезвычайной сжатой формѣ, но съ возможной полнотой, цѣльное образное представленіе объ историческомъ и душевномъ отношеніи различныхъ слоевъ еврейскаго народа къ двумъ изъ наиболѣе важныхъ своихъ цѣнностей, — къ языку и литературѣ? Не очевидно-ли, что этотъ споръ въ «Мишнѣ» и есть та «распря языковъ», которая продолжается въ средѣ еврейства съ того времени вплоть до нынѣшняго дня? «Не пренебрегай арамейскимъ языкомъ, ибо Богъ оказалъ ему почтеніе». Да не молится человѣкъ на языкѣ арамейскомъ, необязательномъ для небесныхъ служителей». «Когда Богъ явился для дарованія Торы Израилю, онъ говорилъ съ нимъ на вѣдомомъ и понятномъ ему языкѣ, на языкѣ египетскомъ»; «такъ скажи... сынамъ Израиля — т. е. на языкѣ, на которомъ Я говорю, на святомъ языкѣ»; «когда Господь открылся для дарованія Торы Израилю, онъ открылся не на одномъ, а на четырехъ языкахъ — на еврейскомъ, латинскомъ, арабскомъ и арамейскомъ»; «тотъ день, когда Тора была переведена на греческій языкъ, былъ такъ же тяжелъ для Израиля, какъ и день содѣянія золотого тельца, а Палестина въ теченіе трехъ дней была тогда покрыта мракомъ»; «когда пророки были переведены Іонатаномъ бенъ-Узіелемъ на арамейскій языкъ, Палестина дрогнула на протяженіи четырехсотъ квадратныхъ парсъ». Такія и многія другія аналогичныя имъ изреченія, отражающія

раздвоеніе народнаго сердца, являются агадической формой проблемы языка; приведенная же лаконическая галаха, въ свою очередь также изложенная въ двухъ противорѣчивыхъ формулахъ, есть естественное превращеніе этой агады въ галахическій чеканъ, краткій практическій итотъ въ резолютивной и категорической формѣ. Тамъ — подвижная, колыхающаяся и чувствительная «лирика», а тутъ — спокойный «эпосъ», твердое велѣніе. Чрезвычайно мудрый выборъ остановился тутъ на моментѣ пожара, на случаѣ замѣшательства и опасности, когда, лишенный возможности оріентироваться, человѣкъ исполняетъ велѣніе сердца и бросается спасать наиболѣе ему дорогое. Пожаръ, такимъ образомъ, является лишь примѣромъ, и эта галаха сохраняетъ свою силу и по отношенію къ наводненію, изгнанію и всякаго рода опасностямъ.

И такъ, эта незначительная деталь рескрываетъ передъ нами великое историческое правило, преподанное цѣлому народу, тѣснимому, терзаемому въ изгнаніи, который не въ состояніи спасти всѣ свои цѣнности, а *пожертвовать* всѣмъ не желаетъ, — о томъ, какъ ему надлежитъ поступать въ день горя и опасности. Несомнѣнно, что авторы Мишны не выражались метафорически-поэтическимъ языкомъ. Они тутъ ставили себѣ одну лишь цѣль: установить правило для практическаго руководства въ буквальномъ смыслѣ этихъ словъ и — самое большее — отлить въ отношеніи къ этому вопросу устойчивую форму для воли даже для образа дѣйствій еврейскаго народа, поскольку они проявлялись до сихъ поръ, первая — въ формѣ Агады, а послѣдній — въ формѣ добровольнаго дѣйствія. И тѣ тысячи отдѣльныхъ индивидовъ, которые въ различныя времена жертвовали собою въ минуты опасности для спасенія отъ гибели своихъ святынь, руководствуясь-ли мнѣніемъ того танная, который распространялъ обязательность спасенія и на книги, написанныя на чужихъ языкахъ, или же взглядомъ рабби Іосси, признавшаго эту обязательность исключительно по отношенію къ книгамъ, написаннымъ на еврейскомъ языкѣ, — ничего другого не имѣли въ виду, кромѣ какъ исполненіе закона въ его подлинномъ смыслѣ. Но что же изъ этого? Сознательно или безсознательно они вѣдь всѣ исполняли велѣніе инстинкта самосохраненія, этого, по представленію нашихъ предковъ, ангела-покровителя еврейскаго народа. И если мы теперь стоимъ передъ нашимъ скуднымъ духовнымъ наслѣдіемъ и говоримъ грустными словами одной изъ нашихъ молитвъ: «ничего у насъ не осталось, кромѣ этой Торы», то мы вѣдь сознаемъ и чувствуемъ, что и это единственное наше достояніе обязано своимъ спасеніемъ никому иному, какъ тѣмъ же отдѣльнымъ индивидамъ, изъ которыхъ каждый въ свое время и на своемъ мѣстѣ выполнялъ велѣніе своего сердца, *согласно Галахѣ.*

Такого внутренняго проникновенія въ эту галаху уже достаточно для того, чтобъ освободить ее въ извѣстной мѣрѣ отъ ея внѣшней скорлупы и возвести ее на степень символа. Но чуткое сердце не довольствуется этимъ: оно проводитъ передъ нашимъ духовнымъ взоромъ, въ связи съ этой галахой и предметомъ ея сужденія, одну картину за другой.

Мы вмѣстѣ съ Ренаномъ, видимъ, напримѣръ, древняго жреца или левита, идущаго въ числѣ изгнанниковъ въ Вавилонію. Онъ медленно подвигается рядомъ со своимъ осломъ, нагруженнымъ многочисленными свитками пророческихъ проповѣдей. Онъ спасъ священное Писаніе отъ пожара.

И еще мы видимъ. Вотъ рабби Іохананъ бенъ-Заккай стоитъ передъ Веспасіаномъ за воротами Іерусалима и молитъ его: «дай мнѣ Явну съ ея мудрецами и родословную цѣпь рабби Гамліила». *И онъ* спасъ отъ пожара остатки еврейскихъ святынь.

И еще мы видимъ: въ эпоху Адріана, когда вражескія силы были направлены къ окончательному распыленію еврейства, и обрядъ рукоположенія, который могъ быть совершаемъ только на почвѣ Святой Земли, былъ, въ цѣляхъ духовнаго и національнаго разрушенія еврейства, объявленъ подъ строжайшимъ запретомъ, восьмидесятилѣтній старикъ, рабби Іегуда бенъ-Баба проявляетъ актъ исключительнаго героизма. Такъ какъ каждый городъ, въ предѣлахъ котораго обнаруживалось тайное совершеніе обряда рукоположенія, долженъ былъ подвергнуться разрушенію, то онъ избираетъ себѣ мѣсто между двумя горами, между Уша и Шеферамъ, гдѣ онъ и рукополагаетъ подъ вражескими стрѣлами пять старцевъ, говоря имъ по окончаніи обряда: «бѣгите, дѣти мои!» Онъ же самъ недвижимо остается передъ лицомъ враговъ; еще минута — и онъ будетъ весь изрѣшетенъ стрѣлами.

И еще: лихорадочно работаетъ школа рабби Іегуды Ганасси и его учениковъ; всѣ заняты большимъ, интенсивнымъ трудомъ. Собираютъ галахи, выясняютъ значеніе устныхъ законовъ, производятъ опросы свидѣтелей о практическомъ примѣненіи извѣстныхъ положеній, систематизируютъ, корректируютъ, записываютъ, запечатлѣваютъ въ письмѣ Устное Ученіе! Они сознаютъ всю «революціонность» своей работы по отношенію къ еврейской традиціи. Устное Ученіе не дозволено записывать, но — «время дѣйствовать за Господа», ибо сердца оскудѣваютъ, разсѣяніе увеличивается, а память, призванная быть хранилищемъ Устнаго Ученія, ослабѣваетъ. Надо спасать все то, что поддается спасенію.

И еще: четверо плѣнныхъ приносятъ съ собою Талмудъ въ Испанію... Труды Маймонида... плеяда переводчиковъ, ибо Тиббоны, торопящіеся переводить драгоцѣнныя произведенія, имѣющія

крупное національное значеніе, съ чужого языка на языкъ святой.

И еще: многочисленныя группы евреевъ, бѣжавшихъ отъ меча и разгрома, изъ поколѣнія въ поколѣніе, изъ вѣка въ вѣкъ, тянутся вереницами по дорогамъ, со священными свитками въ объятіяхъ. Несмѣтное количество отдѣльныхъ людей изъ народа, синагогальныхъ служекъ, портныхъ, сапожниковъ, умираютъ передъ священными ковчегами, защищая свою святыню. Сколько скромныхъ подвижниковъ, скрытыхъ праведниковъ, людей обрекающихъ себя на «добровольное изгнаніе» изъ религіознаго рвенія, скитаются съ мѣста на мѣсто, съ посохомъ въ рукахъ и котомкой на плечахъ, храня въ своемъ мѣшочкѣ для талита и филактерій свою священную и любимую книгу...

И еще и еще... Конечно, во всѣхъ этихъ картинахъ различны и *дѣйствующія лица,* и *матеріалъ священности,* и *средства спасенія,* но все же ихъ роднитъ одно внутреннее, душевное содержаніе: спасеніе отъ гибели одной, наиболѣе важной національной цѣнности, сообразно съ душевными влеченіями и взглядами спасающаго. Чье же мнѣніе слѣдуетъ принять къ руководству, — то-ли которое утверждаетъ: «на одномъ лишь священномъ языкѣ» или же то, которое требуетъ спасанія книгъ «и въ переводѣ и на всякомъ языкѣ»? — Отвѣтъ на этотъ вопросъ могутъ намъ дать исторія и жизнь, а можетъ быть, мы найдемъ, что и онѣ, какъ и уже цитированная нами галаха, оставили этотъ вопросъ въ спорномъ состояніи. Въ данномъ случаѣ не это насъ занимаетъ. Намъ важно лишь показать, насколько незначительная и сухая галаха способна возвышаться порою до степени символа, когда ея затвердѣлая матерія попадаетъ въ горнило живого чувства и снова перерастворяется тамъ въ Агаду. Можно полагать, что и та «агада» нашего времени, которая отражаетъ собою проблему языка, будетъ постепенно все больше и больше принимать характеръ сжатой опредѣленности, пока и она, въ свою очередь, не превратится впослѣдствіи въ новую галаху, и, соотвѣтственно духу и запросамъ времени, получитъ лаконичную и сухую формулировку.

Въ качествѣ наглядной иллюстраціи тѣснаго взаимоотношенія и взаимовліянія Галахи и Агады мы приведемъ еще характерный своимъ построеніемъ отрывокъ изъ трактата о субботѣ. Отрывокъ этотъ, рельефно отражающій въ себѣ своеобразные діалектическіе и риторическіе пріемы проповѣдниковъ временъ Талмуда, посвященъ вопросу о томъ, разрѣшается-ли потушить въ субботу свѣчу, если это требуется для спокойствія больного человѣка. Рабби Танхумъ, которому публично былъ предъявленъ этотъ вопросъ, даетъ на него слѣдующій отвѣтъ.

Обращаясь, повидимому, со своимъ отвѣтомъ къ многочисленной аудиторіи, онъ, въ интересахъ популяризаціи и, съ цѣлью поддержанія вниманія и интереса слушателей, начинаетъ свою рѣчь съ интригующаго своей неожиданностью восклицанія: «Ты, Соломонъ! гдѣ твоя мудрость, гдѣ твоя разумность? Помимо того, что твои слова противорѣчатъ словамъ твоего отца Давида, ты еще противорѣчишь самому себѣ. Твой отецъ-псалмопѣвецъ сказалъ: «не мертвецамъ восхвалять Господа», ты же (въ своемъ Экклезіастѣ въ одномъ мѣстѣ говоришь: «предпочитаю я мертвыхъ, давно уже умершихъ, живымъ, еще нынѣ живущимъ», а въ другомъ мѣстѣ — «лучше живой собакѣ, чѣмъ мертвому льву». Но на самомъ дѣлѣ тутъ нѣтъ, оказывается, никакого противорѣчія. То, что сказалъ Давидъ, соотвѣтствуетъ изреченію мудрецовъ: «человѣкъ долженъ отдаваться святому ученію и добрымъ дѣяніямъ въ теченіе всей своей жизни», ибо за гранью жизни нѣтъ мѣста ни для ученія, ни для исполненія заповѣдей, и не можетъ, слѣдовательно, быть и восхваленія Господа Бога. То же, что сказалъ Соломонъ, въ смыслѣ предпочтенія мертвыхъ живымъ, имѣетъ отношеніе къ великимъ покойникамъ, которые, въ силу своихъ крупныхъ заслугъ продолжаютъ пользоваться бо́льшимъ вліяніемъ на явленія земной жизни, чѣмъ нынѣ живущіе люди. Такъ, напримѣръ, послѣ того, какъ Израиль согрѣшилъ въ пустынѣ, живой Моисей долго и многократно молилъ Бога и не удостоился отвѣта, но стоило ему только упомянуть имена великихъ, давно уже умершихъ предковъ, и сказать: «вспомни, Господи, рабовъ своихъ — Авраама, Исаака и Якова», какъ Богъ тотчасъ же смилостивился. Развѣ не правъ былъ, такимъ образомъ Соломонъ, предпочитая мертвыхъ живымъ?

Законы, устанавливаемые земными властелинами, иногда исполняются, иногда и не исполняются, а если подчиненные и соблюдаютъ ихъ, то только при жизни самихъ законодателей. А вотъ Моисей издалъ столько законовъ и повелѣній, и они, несмотря на его смерть, сохраняютъ свою силу во-вѣки вѣковъ. Развѣ не правъ былъ Соломонъ, предпочитая мертвыхъ живымъ?

Рабби Танхумъ иллюстрируетъ свою мысль, не имѣющую, казалось бы, никакого отношенія къ разбираемому имъ вопросу, еще однимъ примѣромъ легендарно-историческаго характера, который также заканчивается той же заключительной фразой: «развѣ не правъ былъ Соломонъ, предпочитая мертвыхъ живымъ». Затѣмъ лишь онъ переходитъ къ разбору другой, противоположной сентенціи Соломона: «лучше живой собакѣ, чѣмъ мертвому льву». Сентенціи этой онъ даетъ слѣдующее толкованіе, изъ котораго онъ и выводитъ нужное ему для мотивировки своего отвѣта заключеніе.

«Въ псалмѣ 39-омъ говорится: «дай мнѣ, Господи, узнать конецъ мой и мѣру дней моихъ, дабы я зналъ, какъ я *ничтоженъ*». Это обращеніе псалмопѣвца къ Богу слѣдуетъ понять слѣдующимъ образомъ. Царь Давидъ обратился къ Господу съ мольбой: «скажи мнѣ, Господи, какой конецъ мнѣ уготованъ!» Богъ ему отвѣтилъ: «не дано человѣку знать заранѣе свой конецъ». «Такъ скажи мнѣ хоть мѣру дней моихъ!» — «И мѣру дней своихъ человѣку знать не дано». — «Дай мнѣ хоть узнать, какъ я ничтоженъ!» — «Въ день субботній ты умрешь (въ день, когда и хоронить нельзя). — «Дай мнѣ умереть въ послѣсубботній день». — «И это невозможно, ибо день послѣсубботній принадлежитъ уже царствованію сына твоего, Соломона, и одно царствованіе не должно вторгнуться въ другое ни на единый мигъ». — «Такъ дай мнѣ умереть днемъ раньше!» — «И объ этомъ не проси, ибо пріятнѣе Мнѣ одинъ день твоихъ пѣсенъ, чѣмъ тысяча жертвоприношеній твоего сына, Соломона». Услышавъ это, Давидъ сталъ проводить всѣ субботніе дни во вдохновенномъ пѣніи. Когда же наступила та суббота, въ которую онъ долженъ былъ скончаться, явившійся къ нему ангелъ смерти не могъ овладѣть имъ, ибо изъ устъ его носилось неумолкающее пѣніе. Для выполненія своей обязанности, ангелъ смерти, обезоруженный пѣніемъ Давида, отправился въ царскій садъ и заколыхалъ деревья. Царь сталъ спускаться въ садъ, чтобы посмотрѣть, что тамъ случилось, но когда онъ шелъ по лѣстницѣ, подломилась подъ нимъ ступень; споткнувшись, онъ прекратилъ свое пѣніе и тотчасъ скончался. Тогда Соломонъ отправилъ гонца къ первосвященнику съ вопросомъ: «Отецъ скончался и лежитъ на солнцѣ, а дворовыя собаки голодны — какъ мнѣ поступить? (Соломонъ намѣренно сообщилъ и о голодныхъ собакахъ, не имѣющихъ, по существу, никакого отношенія къ случившемуся несчастью, Онъ зналъ, что, по закону, разрѣшается переносить въ субботу падаль для кормленія голодныхъ собакъ, и что, съ другой стороны, запрещено переносить въ этотъ день человѣческій трупъ. Его сообщеніе заключало въ себѣ, такимъ образомъ, недоумѣнный вопросъ: неужели законъ относится съ большимъ уваженіемъ къ голодной собакѣ, чѣмъ къ трупу царя?). Первосвященникъ отвѣтилъ: «разрѣжь падаль и брось ее собакамъ на съѣденіе; что же касается отца твоего, то положи на него ребенка или хлѣбъ и перенеси его» (ибо живого ребенка или хлѣбъ, потребный для живого человѣка, разрѣшается переносить въ субботу съ одного мѣста на другое, а вмѣстѣ съ ребенкомъ или хлѣбомъ мертвое человѣческое тѣло становится причастнымъ къ элементамъ жизни и вмѣстѣ съ нимъ оно можетъ быть перенесено на другое мѣсто). Развѣ не правъ былъ Соломонъ, сказавшій: «лучше быть живой собакой, чѣмъ мертвымъ львомъ»?

Наступаетъ пауза. Напряженные и заинтригованные слушатели ждутъ развязки этой замысловатой рѣчи, и рабби Танхумъ дѣлаетъ, наконецъ, конечный выводъ изъ своего риторическаго построенія: «что же касается до предложеннаго мнѣ вопроса о томъ, дозволяется ли потушить въ субботу свѣтъ для спокойствія больного, то помните, что свѣтильникъ называется свѣтильникомъ и человѣческая душа называется свѣтильникомъ; лучше поэтому, чтобы былъ потушенъ свѣтильникъ, зажженный рукой человѣческой, чѣмъ свѣтильникъ, зажженный Творцомъ всего живущаго».

По поводу незначительнаго и «сухого» галахическаго постановленія тутъ проявилось цѣлое міроощущеніе народа, ставящаго жизнь превыше всего, утверждающаго ее какъ самую высокую цѣнность. Нужно ли еще болѣе наглядное доказательство того, что и параллельныя сферы Галахи и Агады часто сливаются въ общую, двуединую сферу?

Цитированныя нами галахи, приведенныя въ качествѣ примѣра, отнюдь не представляютъ собою исключенія. Количество такого рода галахъ чрезвычайно значительно, и вообще я сомнѣваюсь, существуетъ ли какая-нибудь галаха, которая не была бы связана въ большей или меньшей мѣрѣ съ міромъ идей высшаго порядка, которая не питалась бы какой-нибудь возвышенной-индивидуальной, соціальной или національной идеей. Вѣдь, въ концѣ концовъ, Галаха ничто иное, какъ одна изъ формъ воплощенія творческаго духа человѣка, — а кому вѣдомы пути и направленія этого духа? Въ трактатѣ о субботѣ пишется напр., «Да не выходитъ человѣкъ (въ субботу) ни съ мечемъ, ни съ лукомъ, ни со щитомъ, ни съ дубиной, ни съ копьемъ... Рабби Эліезеръ говоритъ: они служатъ человѣку *украшеніемъ*, ибо сказано въ псалмахъ: «опояшись, герой, мечемъ, своимъ величьемъ и красой» (и можно, слѣдовательно, выходить съ ними въ субботу); мудрецы же говорятъ, что они *позорятъ* человѣка, ибо сказано у пророка Исайи: «И перекуютъ (народы) мечи свои на сошники и копья свои на серпы; не подниметъ меча народъ на народъ и не будутъ больше учиться военному дѣлу». — Вотъ вамъ представленія о прекрасномъ и непристойномъ въ отношеніи къ одеждѣ, опирающіяся на слова царя-псалмопѣвца и на слова величайшаго изъ пророковъ. И что послужило поводомъ къ формулировкѣ этихъ представленій? галахическій вопросъ о ношеніи предметовъ въ субботу. Далѣе: всѣ эти детали, которыми изобилуетъ трактатъ о благословеніяхъ («Berachoth»), являются лишь внѣшнимъ воплощеніемъ возвышенной идеи, что «Богу принадлежитъ земля и все, ее наполняющее», постояннымъ и вѣчно свѣжимъ восторгомъ передъ величіемъ природы и ея разнообразныхъ проявленій. Въ «Midrasch Tanchuma»

говорится: «нечестивецъ и при жизни подобенъ мертвецу, ибо онъ видитъ сіяющее солнце и не произноситъ благословленія «Создателю свѣта», видитъ солнечный закатъ и не благославляетъ «Низводящаго вечеръ», ѣстъ и пьетъ, и не благословляетъ Хлѣбодателя; праведники-же произносятъ благословенія надъ каждымъ явленіемъ, вкушая, видя, или слыша». При видѣ красивыхъ существъ и красивыхъ деревьевъ говорятъ: «Благословенъ Тотъ, въ Чьемъ мірѣ это существуетъ!» Разсказываютъ о Рабби Симеонѣ бенъ-Гамліилѣ, главѣ Израиля въ свое время, что увидѣвши однажды съ террасы Храмовой Горы, исключительно красивую чужеплеменницу, онъ воскликнулъ въ видѣ «берахи», благословенія «Господи, какъ величественны Твои творенія!». Говорящій: «какъ прекрасенъ этотъ хлѣбъ, благословенъ Сотворившій его, какъ прекрасна эта смоква, благословенъ Создавшій ее, — этимъ самымъ уже совершилъ надъ ними благословеніе». Сколько тутъ бодрости сердца и чувствъ! Та же жесткая и жестокая галаха, которая запрещаетъ скорбѣть въ субботу по умершемъ, *съ трудомъ* лишь разрѣшая *утѣшеніе* скорбящихъ — она именно проявляетъ утонченную чуткость своимъ утвержденіемъ, что «плачущій въ субботу для облегченія своей скорби этимъ самымъ пріобщается къ заповѣданному, субботнему блаженству» («Tosephta schabath»).

Нѣтъ, Галаха никоимъ образомъ не является отрицаніемъ чувства, она лишь *покоряетъ* его; она не отмѣняетъ чувства милосердія въ пользу нормы закона, а сочетаетъ ихъ воедино. Ей свойственна та же *жестокость,* которая характеризуетъ всякую творческую и осуществляющую силу, — нѣчто вродѣ, — выражаясь языкомъ каббалистовъ, — мощи, соединенной съ милосердіемъ и дающей въ результатѣ высшую *красоту.* Соотвѣтственно ея практическому характеру, галаха иной и не должна быть. Есть-ли болѣе суровый приговоръ, чѣмъ смертная казнь, выполняемая судомъ? И все же, запрещеніе оставлять на ночь въ городѣ повѣшеннаго по судебному приговору мотивируется тѣмъ, «что повѣшенный есть Божій позоръ», ибо повѣшенъ царственный ликъ, образъ и подобіе Божіе. «Когда человѣкъ объятъ скорбью, Шехина говоритъ: «горе моей главѣ, горе десницѣ моей. «Шехина, такъ сказать, сама себѣ причинила боль и жалуется на себя же. Есть непосредственное милосердіе, и есть милосердіе высшаго порядка, болѣе прозорливое, *отеческое,* разсматривающее все съ большой высоты и временно сдерживающее самое себя для блага будущаго; какъ первое, такъ и послѣднее есть милосердіе Бога живого. Спроси младенца и онъ тебѣ отвѣтитъ словами одного изъ тринадцати атрибутовъ, часто приводящимися въ Священномъ Писаніи: «Господь Богъ есть Владыка жалости и милосердія», и все же, какъ гласитъ

Мишна, слѣдуетъ остановить говорящаго въ своей молитвѣ «Твое милосердіе простирается и на птичье гнѣздо», ибо онъ превращаетъ божественныя свойства въ милости, межъ тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ они — категорическія велѣнія, таящія въ себѣ вышее, прозорливое милосердіе. Не напрасно же еврейскій народъ, по крайней мѣрѣ, въ подавляющей своей части, добровольно впрягъ себя въ желѣзное ярмо Галахи, и даже, отправляясь на вынужденныя скитанія, онъ предпочелъ взвалить на себя тяжкое бремя законовъ и постановленій, поступаясь ради нихъ, по выраженію Самуила Давида Луццато, «пѣснями, радующими сердце и душу». Это явленіе преисполнило Луццато въ свое время такимъ восхищеніемъ, что онъ воскликнулъ: «какъ свято это племя». Что же говорятъ творцы самой Галахи? «Занимающійся ученіемъ въ дорогѣ и прерывающій свое ученіе словами: — какъ красиво это дерево, какъ прекрасна эта пашня — какъ бы подвергаетъ опасности свою душу». Наши эстеты метали громы и молніи по поводу этой незначительной галахи, но чуткое ухо уловитъ и въ ней, между строкъ, душевный трепетъ и тревогу за будущую участь странствующаго народа, ничѣмъ, кромѣ книги, не обладающаго, для котораго всякая душевная привязанность къ одной изъ странъ своихъ скитаній сопряжена съ опасностью для самаго его существованія.

Само собою понятно, что не всѣ галахи одинаково цѣнны и не всѣ онѣ обладаютъ одинаковой жизненной силой. Есть безплодная галаха съ, такъ сказать, неподвижной апотенціальной цѣнностью, и есть галаха творческая, дающая плоды и приплоды. Есть галаха, подобная совершенно пустому сосуду, покоящемуся въ незамѣтномъ углу до наступленія неизбѣжнаго конца, и есть галаха, подобная сосуду, способному безперерывно опорожняться и наполняться все новымъ и новымъ содержаніемъ. Есть и такія галахи, которыя напоминаютъ собою гробы для набальзамированныхъ труповъ, называющіяся, на языкѣ традиціи «chukim»-т. е. постановленіями безъ яснаго смысла и безъ понятной цѣли. Въ нихъ навѣки похоронены осколки древнѣйшаго миѳа и древней агады, и ихъ окаменѣвшія очертанія продолжаютъ существовать, возбуждая всеобщее недоумѣніе и дразня любопытство археологовъ. Но чуткій человѣкъ отнесется и къ нимъ съ уваженіемъ. Темное ущелье, прорѣзанное въ горахъ, иногда укорачиваетъ намъ путь на много-много верстъ и приводитъ насъ внезапно подъ новое небо, а темный и непонятный осколокъ древности, если проникнуть въ его сущность и «расшевелить его уста», можетъ насъ иногда перенести вдругъ, минуя длинные этапы, за грани вѣковъ и тысячелѣтій. Такъ, напримѣръ, еврейское платье со связанными съ нимъ установленіями является, какъ намекнулъ на это одинъ изъ

древнихъ Мидрашимъ, полнымъ вещественнымъ воплощеніемъ... легенды о Каинѣ и Авелѣ.

Библейскій запретъ ношенія шерстольняной ткани является отраженіемъ первобытной распри и вражды между скотоводческими кланами, носившими шерстяныя одежды, и земледѣльческими племенами, носившими льняное платье. Такъ, легендарный представитель земледѣльческаго рода, Каинъ, говоритъ Богу послѣ убійства пастуха-Авеля: «всякій, кто встрѣтится со мною, убьетъ меня». Наряду съ этимъ запретомъ находится и библейское установленіе «да отпустишь себѣ кисти, на четырехъ углахъ твоего одѣянія» — zizith, которыя дозволяется — по мнѣнію талмудистовъ — изготовлять изъ шерсти, смѣшанной со льномъ и которыя также вмѣстѣ со своими плетеніями и узлами, служащими памятными знаменьями, чѣмъ-то вродѣ письменныхъ знаковъ, для многихъ древнихъ клановъ являются ничѣмъ инымъ, какъ наружными, вдѣланными въ платье примѣтами, свидѣтельствующими о мирномъ союзѣ между прежде враждовавшими кланами, заключенномъ послѣ того, какъ ослабѣла прежняя взаимная ненависть и они стали сближаться и даже сливаться другъ съ другомъ. Такъ книга Бытія разсказываетъ, что «сдѣлалъ Господь Каину знаменія, дабы никто, встрѣтившись съ нимъ, не убилъ его». Древніе евреи, потомки растворившихся другъ въ другѣ пастушескихъ клановъ, прообразами которыхъ служатъ домъ Авраама и домъ Іакова, и земледѣльческихъ племенъ, чьимъ прообразомъ является домъ Исаака, одновременно, сохранили въ своей одеждѣ вещественныя отраженія обычаевъ двухъ различныхъ періодовъ; законодатель же также привелъ ихъ въ Писаніи рядомъ, скрывая ихъ подлинный смыслъ, потому ли, что къ его времени послѣдній уже былъ затемненъ и изсякла его жизненная сила, или же для того, чтобы не обнаруживать внутренняго противорѣчія между запретомъ ношенія шерстольняной ткани вообще и между дозволеннымъ сплетеніемъ шерсти и льна въ ритуально-установленныхъ нитяныхъ кистяхъ, или, какъ онѣ называются по — еврейски, «цицитъ». Мотивъ ношенія «цицитъ», приведенный позднѣе въ книгѣ Чиселъ, является несомнѣнно, дальнѣйшимъ добавленіемъ, вродѣ «памяти исхода изъ Египта», положенной впослѣдствіи въ основу народно-бытовыхъ еврейскихъ праздниковъ. Приблизительно такъ же слѣдуетъ разсматривать двукратно приведенное въ Пятикнижіи запрещеніе варить ягненка въ молокѣ его матери, коренящееся въ древнемъ порядкѣ жертвоприношеній въ «доисторическій» праздникъ Пятидесятницы, когда онъ былъ еще не «праздникомъ дарованія нашей Торы», а только праздникомъ жатвы, а люди земли, радовавшіеся своему урожаю, устраивали въ честь Гада и Астарты — боговъ

счàстья и плодородія трапезу изъ заколотаго ягненка, символа обилія и плодовитости, свареннаго въ молокѣ его матери. На религіозно-символическое значеніе ягненка въ языческомъ быту древнихъ евреевъ указываютъ также ягнята, упоминаемыя въ благословеніи Якова, ягненокъ Іегуды и Тамары и ягненокъ, принесенный богатыремъ Самсономъ при посѣщеніи своей жены. И какъ удивительно, что и по сію пору существуетъ у евреевъ обычай — обычай интриговавшій своимъ непонятнымъ смысломъ всѣхъ спеціалистовъ, изслѣдователей — устраивать на Пятидесятницѣ молочную трапезу, съ сокращеніемъ установленнаго промежутка между мясной и молочной пищей, а строгіе ревнители обряда ѣдятъ мясо, сваренное на миндальномъ молокѣ. Люди, работающіе въ этой области, нерѣдко сталкиваются съ подобнаго рода сюрпризами. Ясно, насколько даже такіе законы-рудименты срощены, словно эмбріонъ во чревѣ матери, со всей миѳологической, легендарной и бытовой символикой народа. Но наряду съ ними вѣдь есть еще столько крупныхъ галахъ, являющихся конкретнымъ воплощеніемъ прошлой жизни народа, сохранившихъ до сихъ поръ свои живые соки и неограниченную жизненую потенціальность. Если эти «сосуды жизни» временно покоятся въ незамѣтномъ уголку, то это еще не свидѣтельствуетъ о томъ, что они пришли въ негодность. Надо помнить о великомъ правилѣ: всякая форма жизни въ процессѣ своего образованія или созиданія, т. е. находясь еще, если можно такъ выразиться, «на корню» — сама еще служитъ *содержаніемъ* для духа ея творца; по окончаніи же процесса ея созиданія, когда она становится всеобщимъ достояніемъ и, такъ сказать, «отрывается отъ своихъ корней», она тотчасъ же становится *сосудомъ* безъ собственнаго содержимаго, сосудомъ-вмѣстилищемъ, въ которомъ каждый находитъ то, что онъ самъ отъ времени до времени вкладываетъ въ него, по мѣрѣ своего пользованія имъ. Вложилъ онъ золото — онъ золото и найдетъ, вложилъ песокъ — и найденъ песокъ. Если же кому-нибудь нечего вложить въ такой сосудъ, то онъ, конечно, вправѣ оставлять его порожнимъ, пока онъ не покроется ржавчиной, но онъ не вправѣ заявлять: сосудъ не годенъ, бросьте его въ мусоръ. Такой человѣкъ да скажетъ: *я* бѣденъ.

* * *

Есть ли еще необходимость спеціально останавливаться на взаимной зависимости, существующей между Галахой и Агадой въ качествѣ двухъ различныхъ, но тяготѣющихъ другъ къ другу литературныхъ явленій или стилей?

Сказаннаго нами о внутренней сущности Галахи и Агады, въ качествѣ двухъ различныхъ *жизненныхъ* явленій или стилей, дос-

таточно, какъ намъ кажется, для освѣщенія вопроса и съ этой его стороны, ибо, что такое литература, если не «жизнь, отраженная въ письмѣ»? Но такъ какъ среди «агадистовъ» нашего времени существуетъ тенденція «автономизировать» литературу и культивировать «искусство для искусства», а нѣкоторые изъ нихъ даже ставятъ литературу «выше», т. е. *внѣ* жизни, то по отношенію къ *нимъ* далеко нѣтъ увѣренности, что вышесказанное покажется имъ достаточно убѣдительнымъ. Наоборотъ, есть основаніе ждать совершенно противоположнаго: признаютъ ли они въ той или иной степени приведенныя соображенія или нѣтъ, ясно все таки, что кто осмѣлится утверждать, что и писанная Галаха также еще, подобно ея сестрѣ-Агадѣ, можетъ служить въ наше время базой для значительной части живой литературы, рискуетъ быть принятымъ въ ихъ кругу за человѣка, никогда не вкушавшаго отъ древа «красоты». Галаха и литература — что за сочетаніе? Есть ли еще двѣ большія противоположности, чѣмъ онѣ? Кому же въ нашъ вѣкъ неизвѣстно, что литература вообще — есть только Агада, Агада во всѣхъ ея формахъ и развѣтвленіяхъ, не ограниченная рамками эпохъ, начиная съ библейскихъ разсказовъ, видѣній и притчъ, и кончая изящной литературой нашего времени? Кто же въ нашъ вѣкъ не знаетъ, что Галаха лишена всякаго вкуса и аромата, что нѣтъ въ ней ничего отъ жизненныхъ соковъ и красоты?

Сѣтованія «агадистовъ» на Галаху лишены уже, правда, прелести новизны: Уже составители Талмуда могли разсказывать по этому поводу много притчъ и аллегорій, но они пришли къ заключенію, что Галаха «золотые слитки», а Агада лишь «мелкія монеты». Наши же «агадисты» полагаютъ, что Галаха не подходитъ подъ категорію литературы, что она даже ничего общаго не имѣетъ съ послѣдней. Но справедливъ ли такой приговоръ? Дѣйствительно-ли Галаха, вся, безъ исключенія, представляетъ собою, по отношенію къ литературѣ, сухое, неплодоносное дерево?

Намъ кажется, что и этотъ суровый приговоръ проистекаетъ изъ смѣшенія формы съ матеріей и предмета съ его состояніями. Основныя книги Галахи — Мишна и слѣдующія за ней позднѣйшія произведенія, такъ называемыя «берайтотъ» — носятъ, въ силу ихъ сюжета и цѣлей, характеръ юридически дидактическихъ кодексовъ, что, повидимому, и послужило причиной ихъ исключенія изъ предѣловъ «литературы», въ современномъ смыслѣ этого слова.

Такое отношеніе, однако, мнѣ представляется слишкомъ поверхностнымъ. Если-бъ эти книги заключали въ себѣ логическія правила и юридическіе элементы исключительно абстрактнаго характера, эти сѣтованія были бы справедливы, но кому неизвѣстно, что въ еврейской Галахѣ почти нѣтъ мѣста абстракціямъ, что почти

вся она *образна и конкретна?* Почти вся она, сначала до конца, пестритъ многочисленными картинами, какъ малыми, такъ и большими, отражающими подлинную еврейскую жизнь на протяженіи болѣе тысячелѣтія.

Агада, это дѣтище высокихъ порывовъ и душевныхъ влеченій, занимается должнымъ и желательнымъ, и, читая ее, мы узнаемъ, чего желалъ, какъ мыслилъ и чувствовалъ и къ чему порывался еврейскій народъ. Галаха же, вскормленная міромъ дѣйствительности, занимается сущимъ и установленнымъ, наглядно показывая намъ въ сжатыхъ, но рельефныхъ описаніяхъ самое жизнь народа въ ея конкретныхъ проявленіяхъ. Галаха намъ показываетъ съ очевидной ясностью, какъ народъ воплощалъ свою волю и стремительные порывы души въ устойчивыхъ, твердыхъ формахъ, въ формахъ непосредственнаго *дѣйствія.*

Вступая въ область Мишны, не морщите своего лба. Проходите по ея главамъ спокойно и легко, какъ человѣкъ, осматривающій руины древнихъ городовъ, всмотритесь въ галахическія постановленія, находящіяся рядомъ, другъ подлѣ друга, словно клѣтки строевого камня, и кажущіяся, благодаря своей лаконичности, какъ бы высѣченными изъ камня; внимательно вглядитесь въ маленькіе и совсѣмъ даже мелкіе штрихи, безпорядочно разсѣянные тамъ цѣлыми тысячами, и скажите: не видите-ли вы передъ собою конкретной жизни цѣлаго народа, застывшей какъ-бы «на ходу» во всѣхъ своихъ деталяхъ и мельчайшихъ чертахъ?

Достойны вниманія и эти маленькіе крупинки, штрихи и черточки, тѣ застывшіе осколки жизни, изъ которыхъ составились почти всѣ шесть отдѣловъ Мишны вмѣстѣ съ ихъ добавленіями. Неужели все это совершенно уже не можетъ быть использовано въ литературѣ? Дѣйствительно-ли все это совершенно непригодно для литературы? Когда еврей читаетъ отдѣлъ «Seraim» обнимающій законы и нравы земледѣльческаго быта, то развѣ не бываетъ, что его вдругъ обдаетъ ароматомъ жизни, — запахомъ земли и травы, и онъ вдругъ забываетъ, что сидитъ въ бетъ-гамидрашѣ за ученіемъ, и онъ видитъ передъ собою «народъ», простой «народъ земли» («am-aarez») за всей его работой въ полѣ, въ саду, на виноградникѣ и на гумнѣ? Онъ видитъ и его, и жреца, обходящаго гумна; и бѣдняковъ, и такъ называемыхъ «nemuschoth» покрывающихъ собою или простирающихъ свои одѣянія на оставляемые, по закону, для бѣдныхъ края нивы, съ цѣлью овладѣть имѣющимся на нихъ зерномъ, и бьющихъ другъ друга серпами на дожинкахъ; и поле испещренное различными растеніями; и виноградную лозу, повисшую надъ смоковницей; и муравейники, разбросанные среди колосящагося хлѣба; и вѣтеръ, всколыхнувшій виноград-

ныя лозы; и крестьянина, собирающаго свѣжія травы, или сгребающаго въ скирды сухія травы; и виноградаря, срѣзающаго гроздъ, который, зацѣпившись за листья, падаетъ изъ его рукъ на землю и разсыпается; и ведомаго въ Іерусалимъ оленя, пріобрѣтеннаго на «десятинныя» деньги; и дерево, стоящее внутри и свѣшивающееся наружу; и такъ называемое *собачье тѣсто,* которое ѣдятъ пастухи; и созрѣвшій гранатъ, перевязанный камышемъ и предназначенный для торжественнаго приношенія въ Іерусалимъ; и птенцовъ въ корзинахъ, и еще и еще тому подобные образы и сцены.

А переходя къ отдѣлу «Moêd», трактующему о праздникахъ и торжественныхъ дняхъ, и къ отдѣлу «Naschim», регламентирующему жизнь и обиходъ еврейской женщины, — не видитъ-ли онъ наглядно еврейскій семейный бытъ со всѣми его нравами и во всѣхъ его деталяхъ? А вступая въ «Nesikin», обнимающій вопросы о нанесеніи ущерба и поврежденій, не покажется-ли ему, будто онъ видитъ передъ собою базаръ и улицу древнихъ евреевъ, вдругъ застывшіе въ моментъ оживленнѣйшей купли-продажи, дѣловыхъ хлопотъ и сутолоки.

Порою ему и кажется, что еще немного, еще моментъ — и явится нѣкій чародѣй, великій мастеръ, и коснется своимъ божественнымъ жезломъ — силой дара своего — этой окаменѣвшей жизни, и снова оживетъ она въ одномъ изъ его дивныхъ твореній. Лишь одно прикосновеніе, — немного «вдохновенія», — и Галаха превратится подъ его рукой въ настоящій «эпосъ».

Были же такіе, которые, какъ говорится въ Талмудѣ, «видѣли дѣяніе и вспомнили Галаху»; почему же не быть и противоположному: «видѣли Галаху и вспомнили дѣянія?»

Правда, этотъ эпосъ малъ и незначителенъ; повѣствовательный элементъ почти совершенно отсутствуетъ въ немъ. Онъ весь изобразителенъ: маленькіе штрихи убогаго быта, повседневной, однообразно-протекающей жизни, введенные, притомъ, не въ качествѣ самоцѣнныхъ элементовъ, а какъ-то невзначай и мимоходомъ. Но что же дѣлать? Такова была тогда еврейская жизнь таковой она сохранилась въ единственномъ національно-литературномъ памятникѣ той продолжительной эпохи. Другой жизни у насъ не было, а если и была, то отъ нея ничего не осталось. Періодъ мужества и мощи и пора возвышеннаго творенія библейскаго эпоса прошли тогда безвозвратно какъ для жизни, такъ и для литературы. Наступили дни консервированія, «обереганія оплотовъ» и защиты наличнаго, давно уже существующаго достоянія, дни самой усиленной и бдительной стражи. Какъ на Галахѣ, такъ и на Агадѣ этихъ дней одинаково лежитъ печать ихъ эпохи, печать пассивности. Ни та, ни другая не отмѣчена перстомъ вели-

чія. Обѣ онѣ состоятъ изъ маленькихъ отрывковъ, изъ обрывковъ мысли, чувства и дѣйствія. Тѣмъ не менѣе настоящій художникъ, не тотъ, который высасываетъ «вдохновеніе» изъ пальца или извлекаетъ его изъ объѣдковъ чужого стола, а тотъ, который погружается въ народную душу и черпаетъ его изъ ея бездонныхъ глубинъ, изъ сокровенной жизни націи, — такой художникъ, несомнѣнно, въ состояніи создать нѣчто великое и изъ этого матеріала. Что въ сущности требуется для творчества одареннаго художника? — Немного, такъ сказать, «первичной матеріи», какъ точки опоры для созидающаго духа. Если скудна эта «матерія», то онъ восполнитъ ее своимъ внутреннимъ богатствомъ, и если она мертва — онъ воскреситъ ее струей своей собственной жизни. Непремѣннымъ условіемъ является тутъ жизненное отношеніе человѣка къ формамъ прошедшей жизни, и если кто либо объявляетъ одну изъ этихъ формъ отжившей, то слѣдуетъ предварительно выяснить, не отжилъ-ли онъ самъ.

— Да можетъ-ли эта скала, Галаха забить струей живой воды? — спроситъ съ недоумѣніемъ и недовѣріемъ наше «поколѣніе ренессанса».

Да! Если только въ вашихъ рукахъ божественный жезлъ, а въ душѣ — источникъ жизни! Еслибъ у насъ были настоящіе мастера и Божьей милостью творцы, сохранившіе въ себѣ жизненную воспріимчивость и свѣжесть, то они открыли бы уста и этой скалы, «и они превратили бы Галаху въ національный эпосъ. Но наши художники предпочитаютъ пока пользоваться позаимствованнымъ матеріаломъ и заниматься плохимъ подражаніемъ чужимъ готовымъ формамъ. Этимъ объясняется, что и въ области Агады — которую они утверждаютъ — до сихъ поръ еще не проявлено ими особой творческой силы, и послѣдняя все еще ждетъ своего избавителя, который превратилъ бы ее въ національную лирику, въ дѣйствительно новую поэзію — что, при всемъ ихъ усердіи, не удалось и средневѣковымъ поэтамъ, вслѣдствіе недостаточной талантливости и того же отсутствія жизненнаго отношенія къ этой литературной формѣ.

* * *

— И такъ, — спросятъ съ ироніей, «поставимъ себѣ главу» и вернемся къ... Шулханъ Аруху?

Если кто-нибудь такъ истолковалъ наши слова, то это свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ ихъ совершенно не понялъ. Галаха и Агада — спеціальные термины, имѣющіе въ Талмудѣ свое опредѣленное значеніе, но со стороны внутренней сущности ихъ смыслъ

можетъ быть расширенъ и распространенъ также и на всѣ другія однородныя имъ явленія, какъ предшествующихъ Талмуду, такъ и поталмудическихъ эпохъ. Онѣ представляютъ собою двѣ законченныя формы, два различныхъ стиля, сопровождающихъ другъ друга въ жизни и литературѣ. Каждое поколѣніе творитъ свою Агаду, каждая Агада — свою Галаху. Дѣло не въ той или другой отдѣльной Галахѣ или Агадѣ. Насъ занимаетъ Галаха вообще, — Галаха какъ великое начало, какъ конкретная и законченная форма непосредственной жизни, — жизни, не витающей въ воздухѣ, не опирающейся на зыбкій фундаментъ голыхъ чувствъ и красивыхъ изреченій, а обладающей, такъ сказать, пластической сущностью и надлежащей рельефной формой. Такая Галаха, несомнѣнно, является естественнымъ продолженіемъ и конечнымъ завершеніемъ Агады.

Важна лишь та Агада, которая приводитъ къ Галахѣ. Всякая же Агада, не связанная съ Галахой безсильна. Въ концѣ концовъ, она сама вырождается и лишаетъ также своихъ носителей ихъ творческихъ силъ.

Если кто-нибудь заявляетъ: «нѣтъ у меня ничего, кромѣ Агады», слѣдуетъ подвергнуть его Агаду изслѣдованію — не пустоцвѣтна-ли она. Такой человѣкъ подобенъ тому, кто говоритъ: «Я нарву себѣ цвѣтовъ, а плодовъ я не хочу». Въ концѣ концовъ, онъ останется и безъ цвѣтовъ, ибо безъ плода нѣтъ и сѣмени, а безъ сѣмени и цвѣтъ не появится.

У Агады — извивчивыя стрѣлы и, попадая въ воздухъ, онѣ колеблются и дрожатъ, какъ бы отскакивая отъ слабо натянутой на лукѣ тетивы; у Галахи же — увѣренныя стрѣлы, мощно, безъ малѣйшей дрожи, несущіяся по прямой линіи, какъ бы пущенныя съ туго натянутаго лука. Первая даетъ воздухъ для дыханія, вторая — почву подъ ногами, прочный, устойчивый грунтъ. Первая вноситъ жидкій, текучій элементъ, вторая — элементъ образующій и утверждающій.

Народъ, не пріучающій себя тѣсно соединять Галаху съ Агадой, обрекаетъ себя на вѣчное блужданіе, рискуя отбиться отъ единственнаго правильнаго пути, ведущаго отъ воли къ дѣйствію и отъ стремленія къ осуществленію.

Галаха въ совокупности съ Агадой есть свидѣтельство зрѣлости и здоровья для народа. Всякая же Агада, не имѣющая своей Галахи свидѣтельствуетъ объ упадкѣ творческихъ силъ и возможностей у ея носителей.

Цѣлый рядъ поколѣній и слоевъ еврейства грѣшили по отношенію къ Агадѣ, прерывая жизненную связь между нею и собой. Наивные воспринимали ея текстъ въ его буквальномъ смыслѣ и относились къ ней, какъ къ основамъ религіи; съ другой стороны —,

мудрствовавшіе раціоналисты также истолковывали ее въ ея буквальномъ смыслѣ и видѣли въ ней лишь темноту и суевѣрія. Какъ первые, такъ и послѣдніе были лишены необходимаго въ этой области чувства прекраснаго, имъ было недоступно ощущеніе ея поэтическаго аромата и художественной правды. Они перестали понимать ея языкъ.

Теперь мы удостоились появленія исключительно «агадическаго» поколѣнія. Агада въ жизни и Агада въ литературѣ. Отъ Галахи во всѣхъ ея проявленіяхъ и слѣда не осталось.

Какъ-бы это ни отрицалось тѣми, кому это непріятно сознавать, но фактъ остается фактомъ: наша новая литература, въ лицѣ большинства ея представителей, нищенски облюбовала себѣ постоянное жилище въ наиболѣе низкомъ подвалѣ культурной мысли и культурнаго чувства. Просторные этажи знанія и разума закрылись для нея и не осталось ей ничего, кромѣ крошечной подклѣти сомнительной «эстетики —» въ Агадѣ нашего времени. Немного разсказовъ и немного стихотвореній — вотъ весь ея багажъ, если не считать еще газетной публицистики. Она находится внѣ всякаго вліянія со стороны другихъ, высшихъ источниковъ духа. Изсякла Галаха во Израилѣ, и хуже всего то, что даже не замѣтно въ ней — въ нашей новой литературѣ — стремленія подняться изъ своего нищенскаго жилья.

Повторяемъ: мы не намѣрены склонить чашу вѣсовъ въ сторону Галахи или въ сторону Агады и отдать одной изъ нихъ пальму первенства. Насъ занимаютъ Галаха и Агада вообще, какъ двѣ параллельныя формы литературы и жизни, и мы ставимъ вопросъ: какой конецъ уготованъ Агадѣ, не имѣющей наряду съ собою своей Галахи?

Ея конецъ въ литературѣ — если это уже «конецъ» — мы видимъ, Она убога и пуста. Кто дѣйствительно хочетъ чему-нибудь научиться, вынужденъ еще и понынѣ, по прошествіи полутора столѣтій со времени ея возникновенія, уйти въ «чужое поле». И можно опасаться, что и имѣющійся въ ней незначительный элементъ Агады — эстетика — будетъ все болѣе и болѣе оскудѣвать, вслѣдствіе непритока, отъ времени до времени, оплодотворяющихъ соковъ изъ высшихъ источниковъ духа.

Такъ оно обстоитъ въ литературѣ. А въ жизни?

Вотъ растетъ на нашихъ глазахъ новое поколѣніе въ атмосферѣ, насыщенной фразами и пустословіемъ. Образуется какое-то еврейство, предоставляемое растяжимой силѣ доброй воли. Говорятъ о націонализмѣ, возрожденіи, литературѣ и творчествѣ, о еврейскомъ воспитаніи, еврейской мысли, еврейскомъ трудѣ — и все это зиждится на зыбкой почвѣ какого-то «фильства» и «любительства»: па-

пестинофильство, любительство языка, любительство литературы — какова цѣна такому воздушному любительству?

Любительство? — Но гдѣ же любовь? и гдѣ же долгъ? откуда ему взяться, и чѣмъ ему питаться? Агадой? Но она по своей природѣ есть область благого намѣренія и доброй воли, — она лишена категоричности.

Еврейство, состоящее изъ одной Агады, подобно накаленному желѣзу, не остуженному холодною водою. Душевное стремленіе, доброе намѣреніе, духовное побужденіе, внутренняя любовь — все это прекрасно и полезно, когда оно завершается *дѣйствіемъ,* дѣйствіемъ, твердымъ, какъ желѣзо, жестокимъ долгомъ.

Вы хотите созидать — поступайте же, какъ въ далекія времена Нееміи: «давайте твердое обязательство, пишите, и да будутъ на подписи наши князья, наши левиты и священники. Поставьте надъ собою законы!» Такъ поступили и ваши предки, когда они начали строить.

Возвышенныя видѣнія Исаіи второго жгли сердца современниковъ, но когда наступила пора зиждительнаго труда, то участвовавшіе въ строительствѣ два пророка — Хаггай и Захарья — были эпигонами профетизма и провозвѣстниками Галахи, а послѣдовавшіе за ними Эздра и его сотрудники были уже исключительно галахистами.

Пріобщеніе къ Галахѣ — въ томъ обобщенномъ и символическомъ смыслѣ, въ которомъ мы ее трактуемъ — особенно важно для насъ въ настоящее время. Ибо если у другихъ народовъ, живущихъ своей государственной жизнью каждый отдѣльный «сынъ народа» и «сынъ земли», независимо отъ своего духовнаго уровня, и часто не сознавая этого, исполняетъ рядъ необходимыхъ законовъ и повинностей въ силу своей сліянности съ автоматически организующей средой, то у насъ, въ виду специфическихъ условій нашего существованія, необходимо каждому въ отдѣльности ясное и опредѣленное *сознаніе долга.* А такое сознаніе находится въ исключительной зависимости отъ *знанія,* отъ *изученія,* отъ отточенія и шлифовки *законовъ,* подлежащихъ безпрекословному исполненію.

Поставимъ же надъ собою законы!

Да будутъ намъ даны формы, въ которыхъ мы могли бы отчеканить нашу текучую и слабую волю въ твердые, полновѣсные слитки. Мы жаждемъ подлинныхъ дѣйствій. Дайте намъ въ жизни дѣйственность, преобладающую надъ «словесностью», — дайте намъ въ литературѣ Галаху, преобладающую надъ Агадой.

Мы склоняемъ главу — гдѣ жъ оно, желѣзное ярмо? Отчего же не видать «руки мощной и мышцы простертой?»

---

*

С. ЧЕРНИХОВСКІЙ

# ИДИЛЛІИ

*

I

# ЗАВѢТЪ АВРААМА

**Идиллія изъ жизни евреевъ въ Тавридѣ**

## 1

### НА ПУТИ ВЪ ЕГИПЕТЪ

Ребъ Эліокумъ, рѣзникъ, встаетъ неспѣшно со стула,
Всѣ нумера «Гацефиры» сложилъ и ладонью разгладилъ,
Выравнялъ; ногтемъ провелъ по краямъ. Ему «Гацефира»
Очень любезна была, и читалъ онъ ее со вниманьемъ.
Кончивъ работу, — листы аккуратно сложивъ и расправивъ, —
Всталъ онъ на стулъ деревянный, на шкафъ положилъ газету,
Слѣзъ, подошелъ къ окну и выглянулъ. Ребъ Эліокумъ
Думалъ, что время уже идти къ вечерней молитвѣ,
Въ домъ, гдѣ сходилась молиться община ихъ небольшая.
Дворъ изъ окна созерцалъ онъ мудро, безмолвно — и видѣлъ:
Куры его поспѣшаютъ къ насѣсти, подъ самую крышу,
Скачутъ по лѣстницѣ шаткой, приставленной къ ветхому хлѣву.
Медленно движутся птицы... Посмотритъ насѣдка — и прыгнетъ
Вверхъ на ступеньку; потомъ назадъ обернется и снова
Смотритъ, какъ будто не знаетъ: карабкаться — или не стоитъ?
Только пѣтухъ молодчина межъ ними: хозяйскій любимецъ.
Гребень — багряный, бородка — тоже; дороденъ, осанистъ;
Ходитъ большими шагами, грудь округляя степенно;
Длинныя перья, качаясь, золотомъ блещутъ турецкимъ.
Вотъ ужъ запѣлъ-было онъ, но тотчасъ запнулся, внезапно
Пѣсню свою оборвалъ, и вытянувъ шею, пустился,

Крылья широ́ко раскинувъ, бѣжать; тутъ ребъ Эліокумъ
Тотчасъ узнать пожелалъ причину такого поступка.
Вскорѣ услышалъ онъ свистъ кнута, колесъ громыханье,
Пару коней увидалъ, — а за ними вкатилась повозка.
Лошади стали; съ повозки спрыгнутъ высокій крестьянинъ,
Крѣпкій, здоровый старикъ, распрягъ лошадей и въ корытѣ
Корму для нихъ приготовилъ, съ овсомъ ячмень размѣшавши.
Ребъ Эліокумъ на гоя взглянулъ съ молчаливымъ вопросомъ.
Сразу по шапкѣ узналъ онъ, что гость — изъ села Билибиркн.
(Такъ испоконъ вѣковъ зовется село: Билибирка, —
Только евреи его прозвали Малымъ Египтомъ.)
Мудрый и щедрый Создатель (слава Ему во вѣки!)
Тварей живыхъ сотворивъ, увидѣлъ, что нѣкогда могутъ
Разныхъ породъ созданья смѣшаться между собою.
Далъ имъ Господь посему отличья: гриву, копыта,
Зубы, рога. Ослу — прямыя и длинныя уши,
Ящеру — тонкій хвостъ, а щукѣ — пестрый рисунокъ.
Буйволу далъ Онъ рога, пѣтуху — колючія шпоры,
Бороду далъ Онъ козлу, а шапку — сынамъ Билибирки.
Шапка по виду горшку подобна, но только повыше.
Росту же въ шапкѣ — семь пядей; кто важенъ — съ мизинецъ прибавитъ.
Можно подробно весьма описать, какъ дѣлаютъ шапку:
Видя, что шапка нужна, идетъ крестьянинъ въ овчарню;
Тамъ годовалый ягненокъ, курчавый (черный иль рыжій)
Взоры его привлекаетъ; зарѣжетъ крестьянинъ ягненка;
Мясо онъ сваритъ въ горшкѣ и съ семьею скушаетъ въ супѣ;
Есть и такіе, что жарятъ ягнятъ, поѣдая ихъ съ кашей;
Шкурку жъ отдастъ крестьянинъ кожевнику для обработки.
Въ праздникъ, въ базарный день, въ Михайловку съѣздитъ крестьянинъ,
Въ лавочку Шраги зайдетъ, посидитъ, часокъ поболтаетъ,
Къ Шлемкѣ заглянетъ потомъ — и къ Шрагѣ назадъ возвратится;
Послѣ отправится къ Берлу; сторгуются; Берлъ за полтинникъ
Шапку сошьетъ мужику, но съ цѣны ни копѣйки не скинетъ:
Ибо цѣна навсегда установлена прочно и свято.
Ѣдетъ ли онъ въ Орѣховъ, заглянетъ ли онъ въ Севастополь, —
Жителя этой деревни всякій по шапкѣ узнаетъ.
Ежели кто повстрѣчаетъ жителя сей Билибирки,
Скажетъ ему непремѣнно — Здорово, продай-ка мнѣ шапку! —

Гостя по шапкѣ узналъ, конечно, и ребъ Эліокумъ.
Только не зналъ онъ того, зачѣмъ пріѣхалъ крестьянинъ.
Сталъ онъ тогда размышлять: — Э, видно, тамъ, въ Билибиркѣ,
Важное что-то случилось, — а я ничего и не слышалъ. —
Такъ-то вотъ думаетъ онъ, а мужикъ ужъ стоитъ на порогѣ,
Шапку стащилъ съ головы, озирается, ищетъ икону
— Здравствуй! Рѣзникъ-то который? не ты ли? А я билибиркскій.
Пейсахъ меня прислалъ. Родила ему Мирка сынишку.
Завтра его ты обрѣжешь, а вотъ письмо; получай-ка. —
— Ладно, — отвѣтилъ рѣзникъ, — помолюсь — а тамъ и поѣдемъ.
Ты же меня съ часокъ подожди. А покуда и кони
Пусть отдохнутъ. — Сказалъ, поднялся, взялъ палку и вышелъ.
Улицей тихо идетъ онъ, сверкая гвоздями подметокъ.
Ребъ Эліокумъ могель* извѣстный въ цѣлой округѣ,
Даже изъ дальнихъ селеній за нимъ присылаютъ не рѣдко.
Слава его велика. — Черезъ полъ-часа изъ дому снова
Ребъ Эліокумъ выходитъ въ пальто и въ шарфѣ пуховомъ,
Тепломъ, большомъ. Ибо Элька, жена его, такъ говорила,
Мужа въ сѣняхъ провожая: — Возьми, обвяжи себѣ шею;
День хоть не очень холодный, а все-таки лучше беречься.
Что тебѣ стоитъ? возьми! Жалѣть навѣрно не будешь. —
Ребъ Эліокумъ неспѣшно дошелъ до повозки мужицкой,
Смотритъ — а въ ней, какъ ягнята, его же три дочки усѣлись:
Сорка, да Двейрка, да Чарна. А гдѣ же сынишка? Да вотъ онъ,
Ишь, на рукахъ у гоя, который пріѣхалъ въ повозкѣ.
Хочетъ мужикъ и его посадить съ сестренками рядомъ.
Такъ и сіяютъ оба: и гой заѣзжій, и Хона.
(Мальчика Хоной назвали въ память братишки, который
Умеръ давно отъ холеры; но гои, понятно, Кондратомъ
Хону придумали звать, при этомъ они говорили:
Ежели Годлъ — Данило, то Хона — Кондратъ несомнѣнно.)
Такъ и сіяетъ мальчишка; накушался вдоволь онъ вишенъ,
Зубы отъ сока синѣютъ, пятно на кончикѣ носа,
Выпачканъ весь подбородокъ... Настала для Хоны забава.
Ножками дрыгаетъ онъ на рукахъ у гоя Михайлы.
Любитъ Михайла подчасъ пошутить съ дѣтворою еврейской:
— Ну-тка я васъ, жиденятъ! — и кнутомъ замахнулся притворно.
Громко тогда закричали и Сорка, и Двейрка, и Чарна;

---

* Могель — совершающій актъ обрѣзанія.

Хона однако не воскрикнулъ, не тронулся съ мѣста, а поднялъ
Самъ кулачокъ свой на гоя, готовый ринуться въ битву.
Молча Михайло стоялъ на мѣстѣ, весьма удивленный.
Послѣ того покачалъ головой и промолвилъ негромко:
— Плохо, когда жиденята — и тѣ бунтовать начинаютъ!
— Онъ у меня герой, — отвѣчалъ Эліокумъ съ улыбкой:
— Брось-ка его да ребятъ покатай въ повозкѣ немного. —
Съ криками снова усѣлись и Сорка, и Двейрка, и Чарна.
Хона за ними въ повозку — и тронулись лошади съ мѣста.
— Ну, Эліокумъ, прощай, — сказала жена, — «До свиданья.
Хону вы мнѣ берегите! Ты, Сорка, за брата отвѣтишь!»
Дѣти еще не вернулись. Но вотъ, закричалъ Эліокумъ:
— Будетъ! Пора и домой! Возвращайтесь! — Не очень охотно
Дѣвочки слѣзли съ повозки, — но все же отцу не переча.
Хона одинъ уперся: вцѣпился онъ крѣпко въ Миҳайлу,
Ротъ широко раскрылъ и отчаянно дрыгалъ ногами.
Только ни ноги, ни ротъ не слишкомъ ему пригодились:
Отдалъ приказъ Эліокумъ — и мальчикъ былъ спущенъ на землю,
Чарна и Двейрка, его подхвативши, бѣжали проворно
Къ дому. Назадъ озираясь, вися на рукахъ у сестренокъ,
Съ ними и Хона бѣжалъ, крича и мыча, какъ теленокъ.
Ноги его поджаты; хвостикомъ край рубашенки
Сзади торчитъ изъ прорѣхи, застегнутой слишкомъ небрежно.
Хона кому былъ подобенъ въ эту минуту? Ягненку,
Въ поле бредущему слѣдомъ за маткой. Пастухъ выгоняетъ
Мелкій свой скотъ; за нимъ, отставая, съ протяжнымъ блеяньемъ,
Скачутъ ягнята въ догонку, и хвостики ихъ презабавно
Сзади по голенямъ бьются...
А лошади мчатся и мчатся,
Вотъ, ужъ село миновали и по полю чистому ѣдутъ;
Вотъ — и съ пригорка спустились; изъ глазъ сокрылась деревня;
Мельница только видна на холмѣ; раскинувши крылья,
Точно гигантскія руки, привѣтъ она шлетъ имъ прощальный.
Вотъ, ужъ просторы полей окружили путниковъ нашихъ, —
Вольная ширь кругомъ простерта въ покоѣ великомъ.

Скорби глубокой и тихой духъ витаетъ надъ степью:
Пѣсня извѣчной печали, бездонной, безмолвной и горькой,
Повѣсть минувшихъ событій — и темныя тайны грядущихъ,
Будущихъ дней... И невольно тогда на уста человѣку

Грустная пѣсня приходитъ, и сердца тайникъ непостижный
Полнитъ собой, и печалитъ, и міръ омрачаетъ, какъ облакъ.
Сердце тогда щемитъ, а въ глазахъ скопляются слезы.
Славой овѣяна степь, и въ сказаньяхъ о давнихъ народахъ,
Тамъ, въ отдаленныхъ вѣкахъ, на грани преданья и правды,
Древнее имя ея окутано облакомъ тайны.
Персы со скиѳами здѣсь воевали; здѣсь кочевали
Половцевъ дикія толпы, потомъ племена печенеговъ;
Кровь татарвы и казаковъ здѣсь проливалась обильно.
Кончены тѣ времена, когда отъ границы Буджака
Вплоть до Каспійскаго моря ширилось море другое —
Море сверкающихъ травъ, благовоньемъ богатыхъ. Бывало —
Хищное племя шатры разбивало у рѣкъ многоводныхъ,
Дикихъ коней усмиряло въ степныхъ неоглядныхъ просторахъ...
Только могилы остались донынѣ: большіе курганы.
Молча и грустно съ кургановъ глядятъ изваянья; загадки
Замкнуты въ камнѣ холодномъ. Весны беззаботной потоки
Начисто смыли слѣды удалыхъ наѣзниковъ скиѳовъ;
Память о половцахъ дикихъ вѣтеръ по степи развѣялъ;
Сѣчь навсегда затихла; въ бахчисарайской долинѣ
Смолкли тимпаны и бубны; пространства степей необъятныхъ
Блещутъ подъ влагой росы въ золотыхъ одѣяньяхъ пшеницы.

Прошлое дремлетъ въ гигантскихъ ему изсѣченныхъ могилахъ
Только въ печальныя ночи, когда облака торопливо
Мчатся, сшибаясь, по небу, да тучъ блуждаютъ обрывки,
Лунный же ликъ багровѣетъ и падаетъ, мѣдью сверкая, —
Мнится: былыя повѣрья опять облекаются плотью,
Вновь пробуждаются къ жизни. Встаютъ изъ кургановъ гиганты,
Снова взираютъ на землю ихъ удивленныя очи.
Голосомъ травъ шелестящихъ они повѣствуютъ о прошломъ...
Слушаютъ путники шопотъ, и пристально смотрятъ, и видятъ
Неба нахмуренный сводъ, суровыя, темныя тучи,
Дали, нѣмыя, какъ тайна судебъ, — и невольно ихъ сердце
Смутной сжимается болью. И крадется въ сердце желанье
Бодро вскочить на коня, въ бока его шпоры вонзивши,
Мчаться степнымъ бездорожьемъ, все дальше, туда, гдѣ съ землею
Сходятся тучи ночныя. И хочется путнику громко
Крикнуть, чтобъ голосъ его разнесся отъ моря до моря,
Хочется воздухъ пустыни наполнить возгласомъ дикимъ,

Чтобы спугнуть лебедей, чтобъ слышали волки въ оврагахъ,
Чтобы звѣрье изъ норъ откликнулось воемъ далекимъ,
Чтобы утѣшилось сердце хоть слабымъ признакомъ жизни...
Тихо тогда запѣваетъ Михайло, и пѣсня простая,
Грустью рожденная пѣсня сердца печаль выражаетъ.
Простъ и унылъ напѣвъ, однозвучный, тягучій, нехитрый.
Такъ надъ морскимъ побережьемъ, такъ у днѣпровскихъ пороговъ
Чайки безрадостно кличутъ: за возгласомъ — возгласъ протяжный,
Отзвукъ безрадостной доли, отзвукъ печали и плача.
Такъ и Михайло поетъ: Эліокуму въ самое сердце
Скорбный напѣвъ западаетъ. Внятны въ пѣснѣ мужицкой
Сердца горячаго слезы; имѣетъ выхода сердце
Силамъ, скопившимся въ немъ непримѣтно, подспудно и праздно.
Въ пѣснѣ унылой излить ихъ — вотъ облегченье для сердца.
Пѣсню казацкую пѣлъ Михайло. Внималъ Эліокумъ;
Міръ непонятный и чуждый являлся душѣ его мирной:
Пламя, убійства и кровь... И въ даль смотрѣлъ онъ душою,
Въ смѣну былыхъ поколѣній, тѣхъ, что когда-то мелькнули
Въ анойныхъ степяхъ и исчезли... И вспомнилъ хазаръ Эліокумъ,
Вспомнилъ потомъ Іудею, мужей могучихъ и грозныхъ,
Вспомнилъ о дикихъ коняхъ, о панцыряхъ, копьяхъ и пикахъ...
Чуждо ему это все — но сердце сжалось невольно...
Снова мерещатся луки, и пики, и ядра баллисты,
Только ужъ лица другія. Тѣ лица узналъ Эліокумъ.
Ава девятый день!... И больнѣе сжимается сердце.
Блещутъ мечи и щиты... И думать сталъ Эліокумъ:
Если бы самъ онъ былъ тамъ, — то сталъ ли бы онъ защищаться?
Долго онъ думалъ объ этомъ — и вдругъ нечаянно вспомнилъ
Хону, поднявшаго свой кулачекъ на Михайлу. И снова
Самъ Эліокумъ себя вопросилъ: «Въ младенчествѣ нѣжномъ
Такъ ли бы я отвѣтилъ Михайлѣ, какъ Хона отвѣтилъ?
Вижу я — новый повѣялъ вѣтеръ во станѣ евреевъ,
Новое нынѣ встаетъ на нашей землѣ поколѣнье.
Вотъ, завелись колонисты, Сіонъ... Что ни день, то въ газетахъ
Пишутъ о лекціяхъ, банкахъ, конгрессахъ...» И ребъ Эліокумъ
Въ сердцѣ своемъ ощущаетъ и радость, и страхъ, и надежду:
Въ мірѣ великое что-то творится: дѣло святое,
Милое сердцу его — и новое, новое! Страшно
Дней наступающихъ этихъ! Кто вѣдаетъ, что въ нихъ таится?...
Странно все это весьма, гадать о будущемъ трудно...

Ахадъ-Гаамъ, «молодые» — все странно, прекрасно и ново...
Старое? Старое — вотъ: ужъ готово склониться предъ новымъ.
Скоро исчезнетъ оно... Подрыты его основанья,
Ширятся трещины, щели, — паденіе прошлаго близко...
Только по виду все такъ же, какъ было въ минувшіе годы.
Такъ и со льдами бываетъ весною. Выглянетъ солнце,
Всюду проникнутъ лучи: по виду ледъ все такой же;
Только — ступи на него: растаетъ, и нѣтъ его больше.
Радо грядущему сердце — но все же и прошлаго жалко...
Лошади вдругъ подхватили, помчались рѣзвѣе. Михайло
Пѣсню свою оборвалъ. Грохочутъ колеса повозки,
Весело оси скрипятъ, — и вотъ ужъ дома Билибирки.
Вотъ ужъ глядятъ огоньки изъ маленькихъ, узкихъ окошекъ,
Путникамъ такъ и мигаютъ ихъ дружелюбные глазки.
Съ лаемъ по улицѣ грязной бѣгутъ отовсюду собаки,
Полня весельемъ и гамомъ вечерній темнѣющій воздухъ.

## 2

## ОБРѢЗАНІЕ

Вотъ имена сыновъ Билибирки, что жили въ «Египтѣ».
Съ женами всѣ собрались и сѣли на мѣстѣ почетномъ:
Берелэ Донсъ и Шмуль Буцъ; Берлъ Большой и Берлъ Малый;
Годлъ Палантъ, Залманъ Дойвъ и Шмерлъ, меламедъ литовскій;
Ривлинъ, изъ Лодзи агентъ; Александръ Матвѣичъ Шлимазлинъ;
Іоскинъ, тамошній фельдшеръ; Матисья Сéменъ аптекарь;
Хáимъ бревъ Сендеръ, раввинъ, толстопузый, плечистый;
Родомъ онъ самъ билибиркскій, и имъ горда Билибирка,
«Нашего стада телецъ!» — о немъ говорятъ, похваляясь.
Съ ними сидитъ и ребъ Лейбъ, рѣзникъ и канторъ въ «Египтѣ».
Худъ онъ, какъ щепка, и малъ, и хромъ на правую ногу.
Тутъ же и Лейзеръ, служка. И къ нимъ присосѣдился прочно
Рабби Азрíэль Морóнтъ, съ большой бородою, весь красный.
Лѣтъ три десятка служилъ онъ въ солдатахъ царю Николаю
Первому — и устоялъ въ испытаньяхъ тяжелыхъ и многихъ.
Нынѣ же къ Торѣ вернулся, — къ служенію Господу Богу.

Эти четыре лица: ребъ Лейбъ, Азріэль и Лейзеръ,
Также ребъ Хаимъ, раввинъ, — весьма почитаемы всѣми;
Длинны одежды у нихъ, и слово ихъ въ общинѣ вѣско,
Ибо изъ нихъ состоитъ билибиркское все духовенство.
Были два гостя еще, но ниже гораздо значеньемъ:
Нѣкій Хведиръ Паскó и съ нимъ сумасшедшая Хивра.
Хведиръ — высокій, худой, и носъ его башнѣ Ливана
Краснымъ огнемъ озаренной подобенъ; отъ выпитой браги
Красны глаза его также. Нравомъ онъ скроменъ и смиренъ.
Онъ охраняетъ евреевъ жилища. Въ кварталѣ еврейскомъ
Улицей грязной и топкой ходитъ съ собаками Хведиръ.
Сырка, Зузулька, Кадушка и Дамка зовутся собаки.
Къ Пейсаху Сырка пришла, а прочія дома остались.
Сырка усѣлась въ углу, и глаза прищуривши, ловитъ
Мухъ, облѣпившихъ ея въ бою пострадавшее ухо.
Сидя съ привѣтливой мордой, хвостомъ она тихо виляла.
Кромѣ того, что онъ сторожъ, Паско былъ и «гоемъ субботнимъ»:
Ставилъ онъ всѣмъ самовары и лампы гасилъ по субботамъ,
Печи, случалось, топилъ и строилъ навѣсы для Кущей.
Впрочемъ, не рѣже его топила печи и Хивра.
Также ходила она за водой и за то получала
По двѣ копѣйки. Когда же случалось, что баня топилась,
Хивра по улицѣ шла и махала вѣникомъ, съ крикомъ:
«Въ баню ступайте, евреи! Скорѣй, немытые, въ баню!»
Хведиръ и Хивра сегодня столкнулись за трапезой общей:
Запахъ вина ихъ привлекъ на пиршество къ Пейсаху нынче...

Шумной, веселой гурьбою, смѣясь, бесѣдуя, споря,
Званые гости вошли въ большую, красивую залу,
Въ свѣтлый, высокій покой, гдѣ въ садъ выходили всѣ окна.
Съ садомъ фруктовымъ свой домъ отъ отца унаслѣдовалъ Пейсахъ.
Мѣломъ былъ выбѣленъ залъ; въ потолокъ былъ вдѣланъ прекрасный
Кругъ изъ затѣйливой лѣпки, въ центрѣ же круга висѣла
Лампа на толстомъ крюкѣ. По стѣнамъ красовались портреты
Монтефіоре и Гирша и многихъ ученыхъ раввиновъ.
Вѣнскіе стулья стояли у длинныхъ столовъ, но садиться
Гости еще не спѣшили. Одинъ собесѣдникъ другого
Крѣпко за лацканъ держалъ, — и громко всѣ говорили.
Хаимъ, раввинъ, наконецъ, вопросилъ хозяина пира:
«Ну, не пора ли, ребъ Пейсахъ?» «Ну, ну!» отвѣтствовалъ Пейсахъ:

Сàндоку* стулъ поскорѣе!» — И стулъ принесенъ былъ слугою.
Весь озарился въ тотъ мигъ Азріэль веселіемъ духа.
Гордо взиралъ онъ вокругъ, съ величіемъ кесарей древнихъ;
Розовы щеки его, какъ у сильнаго юноши; кудри,
Слившись съ большой бородой, сѣдиною серебряной блещутъ,
Бѣлой волною струясь по одеждѣ, по выпуклой груди;
Сѣды и брови его, густыя, широкія; ими,
Точно изогнутымъ лукомъ, лобъ бѣлоснѣжный очерченъ.
Видомъ своимъ величавымъ взоры гостей услаждалъ онъ.
Сидя на стулѣ, онъ ждалъ, чтобъ квàтэръ** явился съ ребенкомъ.
Молча смотрѣлъ онъ на дверь въ сосѣдній покой, гдѣ сидѣли
Женщины: тамъ находилась роженица съ новорожденнымъ.

Вотъ отворяется тихо дверь, и въ комнату входитъ
Чудная дѣвушка; лѣтъ ей шестнадцать, не болѣе. Это —
Пейсаха старшая дочь, — она же квàтэринъ нынче.
Стройно она сложена, но вся еще блещетъ росою
Дѣтства: покатыя плечи созрѣли прелестно, округло,
Шея же слишкомъ тонка, и локти младенчески остры;
Плавно рисуются двѣ сестрицы-волны подъ одеждой;
Черныя косы ея, заплетенныя туго, сверкаютъ,
Словно тяжелыя змѣи, до самой ступни ниспадая.
Дѣвушка эта прелестна! И вотъ, что всего въ ней прелестнѣй:
Кажется, дѣвочка въ ней со взрослою женщиной спорятъ;
То побѣждаетъ одна, то другая. Дубку молодому
Также подобна она: дубокъ и строенъ, и тонокъ, —
Все же грядущую силу предугадать въ немъ не трудно.
Въ сѣрыхъ, огромныхъ глазахъ у дѣвушки искрится радость,
Черны и длинны рѣсницы, которыми глазъ отороченъ.
Если же взглянетъ она, то взоръ ея въ сердце проникнетъ,
Свѣтлымъ и тихимъ весельемъ сердце плѣняя и полня...
Руки простерты ея. На рукахъ, въ одѣялѣ, младенецъ.
Тихо ступаетъ она, слегка назадъ откачнувшись:
Новорожденнаго братца, видно, держать не легко ей.

---

* Сàндокъ — лицо, на рукахъ у котораго находится ребенокъ во время акта обрѣзанія. Быть сандокомъ очень почетно.

** Квàтэръ и квàтэринъ — кумъ и кума. Послѣдняя, внеся ребенка въ комнату, передаетъ его первому, а тотъ въ свою очередь сандоку.

Вотъ, на мгновенье стыдливымъ румянцемъ вспыхнули щеки,
Тотчасъ, однако, лицо по прежнему стало спокойно.
Вѣрно, взглянула она, какъ кватэръ идетъ ей навстрѣчу.
Таинство свѣтомъ своимъ лицо ея озарило.
«Словно Шехина почіетъ на ней! Смотрите! Смотрите!» —
Берелэ Донсъ воскликнулъ. Другіе смущенно молчали:
Какъ бы ея онъ не сглазилъ! — Тутъ кватэръ, взявши ребенка,
Рабби Азріэлю подалъ. Мальчикъ рослый и крѣпкій,
Розово тѣло его, какъ цвѣтъ распустившійся розы,
Тихо лежитъ онъ на бѣлой, вымытой чисто простынкѣ...
Осенью позднею солнце является такъ же порою:
Клонится къ вечеру день; снѣга надъ полями синѣютъ;
Падаетъ солнце все ниже — и краемъ касается снѣга...
Всѣ приглашенные тѣсно столпились возлѣ младенца.
Было на лицахъ тогда ожиданье и святости отсвѣтъ, —
Благоговѣйная тишь воцарилась у Пейсаха въ домѣ.

## 3

## ПИРЪ

Къ матери въ спальню ребенокъ былъ отнесенъ торопливо.
Голосъ его раздавался по дому. «Клянусь вамъ, мальчишка
Умница будетъ: обиду снести онъ безмолвно не хочетъ.
И справедливо: вѣдь сразу всѣхъ собственныхъ правъ онъ лишился.»
Такъ прошепталъ Шмуэль-Буцу Матисья Сéменъ, аптекарь.
Къ шумной и быстрой бесѣдѣ опять возвращаются гости;
Снова наполнилась зала говоромъ, спорами, гуломъ.
Вотъ, межъ гостей пробираясь, женщины въ залу выходятъ:
Это родня и подруги счастливой роженицы Мирьямъ.
Вотъ, на столы постелили чистыя скатерти; вскорѣ
Съ яснымъ, играющимъ звономъ явились графины и рюмки;
Стройными стали рядами они на столахъ; по сосѣдству
Выросли цѣлыя горы: въ корзинахъ, въ серебряныхъ чашахъ
Вдоволь наложено хлѣба, сластей, орѣховъ, оладей.
Всѣ ощутили тогда въ сердцахъ восхищенье. А Пейсахъ
Рѣчь свою началъ къ гостямъ, говоря съ любезнымъ привѣтомъ:

«Мойте, друзья мои, руки и къ трапезѣ ближе садитесь.
Сердце свое укрѣпите всѣмъ, что далъ мнѣ Создатель.
Вотъ полотенце, кувшинъ же съ водою въ сѣняхъ вы найдете.»
Такъ онъ сказалъ, и гостямъ слова его были пріятны.
Всѣ окружили кувшинъ и руки съ молитвою мыли.
Въ залу вернулись потомъ обратно, и сѣли, и ждали.
Благословилъ, наконецъ, раввинъ приступить къ монополькѣ.
Съ медомъ оладью онъ взялъ, преломилъ, — и примѣру благому
Прочіе всѣ подражали охотно, что очень понятно,
Ибо не ѣли съ утра и голодны были изрядно.
Весело гости кричали: «Твое, ребъ Пейсахъ, здоровье!
Многая лѣта еще живи на благо и радость!»
Пейсахъ отвѣтилъ: «Аминь, да будетъ по вашему слову.
Благословленье Господне надъ всѣмъ Израилемъ!» Вскорѣ
Пусты ужъ были корзины и чаши. Но тотчасъ на смѣну
Цѣлая рать прибыла тарелокъ, наполненныхъ щедро
Рубленной птичьей печенкой, зажаренной въ салѣ гусиномъ.
Во-время поваръ печенку вынулъ изъ печи и въ мѣру
Перцу и соли прибавилъ, сдобривши жаренымъ лукомъ:
Сочная очень печенка, и видомъ подобна топазу.
Разомъ затихъ разговоръ; жернова не праздно лежали;
Только и слышались звуки ножей да вилокъ. Но вотъ ужъ —
Время явиться салату, что жиромъ куринымъ приправленъ;
Въ немъ же — изрубленный мелко лукъ и чеснокъ ароматный.
Нѣбу салатъ былъ угоденъ: ни крошки его не осталось.
Тутъ-то гигантское блюдо внесли съ фаршированой рыбой:
Окунь янтарный на немъ, и огромная щука, а также
Мелкая всякая рыба, нѣжная вкусомъ; иная
Сварена съ разной начинкой, иная зажарена въ маслѣ,
И золотистыя капли росою сверкаютъ на спинахъ.
Перцемъ приправлена рыба, изюмомъ, рѣдькой и лукомъ.
Славится Мирьямъ своей фаршированой рыбой, — а нынче
Варка особенно ей удалась, — и счастлива Мирьямъ.
Рыбешка таетъ во рту и сама собою такъ нѣжно
Въ горло скользитъ, а на вкусъ — пріятнѣй сыченаго меда.
Къ рыбѣ явились на столъ, пирующихъ радуя взоры,
Старыя крымскія вина и пара бутылокъ «Кармела».
Имъ угощали раввина, потомъ и другихъ приглашенныхъ.
Всѣ похвалили его. Когда же насытились гости,
Снова вернулись они къ бесѣдамъ, и шуткамъ, и спорамъ.

Шелъ разговоръ о цѣнахъ на хлѣбъ, о плохомъ урожаѣ.
Шумъ возрасталъ, ибо каждый въ Израилѣ высказать можетъ
Слово свое. О болѣзни Викторіи спорили много,
Объ иностранныхъ дѣлахъ; добрались наконецъ до наслѣдства
Ротшильда; вспомнили Гирша и съ нимъ колонистовъ несчастныхъ.
Шмерлъ, мела́медъ, тогда возвысилъ громкій свой голосъ.
(Родомъ онъ былъ изъ Литвы, но вольнаго духа набрался,
Свѣтскія книги читая). Онъ началъ: «Вниманье! Вниманье!
Слушайте, что вамъ разскажетъ меламедъ!» И тутъ описалъ онъ
Злую судьбу колонистовъ, ихъ бѣдствія, скорби, печали,
Всѣ притѣсненья, и голодъ, и горечь нужды безысходной.
«Тверды, однако жъ, они во всѣхъ испытаніяхъ были.
Взоры они обращаютъ къ Израилю: братья, на помощь!
Красное это вино — не кровь-ли тѣхъ колонистовъ? —
Кровь, что они проливаютъ на милыхъ поляхъ Палестины.
Взыщется кровь ихъ на васъ, когда не прійдете на помощь!
Братья, спѣшите на помощь! Спасайте дѣло святое!
Есть поговорка у гоевъ отличная: съ міру по ниткѣ —
Голому выйдетъ рубаха!» — Такими словами онъ кончилъ.
Блѣдно лицо его было, глаза же сверкали. Всѣ гости
Молча внимали ему, головами качая. Платками
Женщины терли глаза. Умолкъ меламедъ — и тотчасъ
Между гостями пошла въ круговую тарелка для сбора.
Звякали громко монеты въ высокой Пейсаха залѣ,
И тяжелѣла тарелка все болѣе съ каждымъ мгновеньемъ.
И веселѣй становилось собранье: вѣдь каждое сердце
Ближнему радо помочь. Ученый меламедъ отъ счастья
Потный и красный сидѣлъ... Бородку свою небольшую
Шебселэ молча щипалъ. (Изъ Польши онъ прибылъ недавно;
«Коршуномъ польскимъ» у насъ прозвали его, какъ обычно
Каждый зовется полякъ, когда не зовутъ его просто
«Воромъ»). Но вотъ, наконецъ, произнесъ онъ: «Конечно, конечно,
Шмерлъ́ — человѣкъ настоящій. Одна бѣда — изъ Литвы онъ.
Что они тамъ за евреи? На выкрестовъ больше похожи.
Слово такое услышавъ, гости взглянули на Шмерла:
Что онъ отвѣтитъ? Мужчина вѣдь умный, къ тому же меламедъ.
Шмерлъ же въ отвѣтъ закрываетъ глаза и самъ вопрошаетъ:
«Шебселэ! Праотецъ нашъ, Авраамъ, не также ли былъ онъ
Родомъ литвакъ?» «Авраамъ? Да постой: изъ чего жъ это видно?»
«Вотъ изъ чего: *и воззвалъ къ Аврааму онъ шейнисъ*. А если бъ

Былъ Авраамъ не литвакъ, то *шейндлсъ* воскликнулъ бы ангелъ»*.
Шутка понравилась всѣмъ пировавшимъ, и много смѣялись
Гости, и такъ говорили, меламеда мудростью тѣшась:
«Шебселэ, что жъ ты молчишь? Отвѣчай меламеду. Что жъ ты?»
Шебселэ имъ отвѣчаетъ: «Пфе! Не стоитъ, отвѣта».
Только одно мнѣ неясно, понять одного не могу я:
Какъ это каждый литвакъ два имени носитъ? А если
Нѣтъ у него двухъ именъ, то тфелинъ, навѣрно, двѣ пары,
Или въ Литвѣ онъ оставилъ двухъ женъ, не давая развода».
Шутка понравилась всѣмъ пировавшимъ, и много смѣялись
Гости, весьма забавляясь словами Шебселэ. Только
Шмерлъ поблѣднѣлъ чрезвычайно: грѣшки свои онъ припомнилъ.
Все же онъ гнѣвъ поборолъ и Шебселэ вотъ что отвѣтилъ:
«Шебселэ, слушай и вникни. Понятно тебѣ, вѣроятно,
Слово легенды пасхальной:** зачѣмъ Господь Вседержитель
Ангела смерти убилъ. Вѣдь ангелъ-то правъ былъ, — не такъ ли?
Ну-ка, подумай надъ этимъ!» Собранье воскликнуло хоромъ:
«Ангелъ, конечно, былъ правъ! Что хочешь сказать ты, меламедъ?»
«Вотъ что», отвѣтствуетъ Шмерлъ — и рѣчь свою такъ продолжаетъ:
«Правъ былъ, конечно, и Богъ, но во всемъ виновата собака:
Дескать, она-то права, — но кто ее проситъ, собаку,
Судъ свой высказывать? Ей ли дано это право?» — Тутъ гости
Смѣха сдержать не могли. А Шебселэ то покраснѣетъ,
То побѣлѣетъ... Отвѣтить обидчику хочетъ... Но смотритъ, —
Вотъ ужъ стоитъ передъ нимъ тарелка вкуснаго супа.

---

* Игра словъ. Въ Библіи (Быт., 22, 15) сказано: «И вторично воззвалъ къ Аврааму ангелъ...» Вторично по древне-еврейски «шейнисъ». Но въ Литвѣ есть женское имя Шейне, отъ котораго прилагательное притяжательное — «шейнисъ». Въ Польшѣ это же имя произносится Шейндлъ, а прилагательное — «шейндлсъ». Острота меламеда въ томъ, что библейское нарѣчіе онъ разсматриваетъ, какъ современное прилагательное, которое и оказывается произнесеннымъ съ *литовскимъ* выговоромъ. Изъ этого онъ шутя заключаетъ, что Авраамъ былъ «литвакъ», иначе бы ангелъ, обращаясь къ нему, сказалъ на польскій ладъ: «шейндлсъ».

** Рѣчь идетъ о легендѣ, читаемой за вечерней трапезой въ первыя двѣ ночи праздника Пасхи. Содержаніе легенды вкратцѣ таково: хозяинъ купилъ козочку, но кошка ее съѣла. За это собака съѣла кошку, палка убила собаку, огонь пожралъ палку, вода залила огонь, быкъ выпилъ воду, рѣзникъ зарѣзалъ быка, Ангелъ смерти зарѣзалъ рѣзника, а Господь — Ангела смерти, ибо каждый изъ нихъ, начиная съ собаки, былъ правъ въ своемъ судѣ, но право суда принадлежало не имъ.

[illegible] съ горячей начинкой. Бульонъ же
[illegible] расплавленнымъ [illegible] — а солнце
[illegible] и блестки жира сверкаютъ
[illegible] уже раскрыть было ротъ свой
[illegible] почесть [illegible] за благо
[illegible] своими
[illegible] уже разгуляться.
[illegible] и [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] —
[illegible]

## II

# ВАРЕНИКИ

### 1

Рѣдкое выдалось утро, какихъ выдается не много
Даже весной, а весна — прекрасна въ поляхъ Украины,
Въ вольныхъ, какъ море, степяхъ! — Но кто же первый увидѣлъ
Прелесть прохладнаго утра, омытаго ранней росою,
Въ часъ, какъ заря въ небесахъ, розовѣя, воздушно сіяетъ?
Жавронокъ первый увидѣлъ. На крылышкахъ быстрыхъ онъ взвился
Въ высь — и оттуда дождемъ просыпалъ пѣвучія трели
И разбудилъ воробьевъ на крышахъ, дроздовъ на деревьяхъ.
Солнце проснулось вторымъ; румяное, ликомъ пылаетъ,
Стыдно ему, что оно запоздало, пора за работу:
Кистью слегка провести по цвѣтку; золотистую пудру
Бабочкѣ бросить на крылья; забытую струйку потрогать,
Чтобы чешуйчатой спинкой сверкнулъ проплывающій окунь;
Яйца лягушекъ согрѣть; пшеницы лѣнивыя зерна
Поторопить — и пчелу разбудить лучемъ веселящимъ. —
Третьей старушка Гитлъ, вдова раввина, проснулась
И пріоткрыла глаза. Лазурное, чистое небо
Синимъ повисло шатромъ. Едва пробившейся травкой
Выгонъ и поле сверкали. Покой надо всѣмъ простирался,
Храма пустого молчанье, — какъ будто сіяньемъ и блескомъ
Поражены и земля, и небо — и сами дивятся
Чудной своей красотѣ... Съ постели теплой поспѣшно
Старая Гитлъ поднялась, накинула платье и руки
Подъ рукомойникомъ мѣднымъ помыла. Тяжелый и толстый
Былъ рукомойникъ, старинный. Боками сверкалъ и сіялъ онъ:

Чистили часто его кирпичемъ толченымъ. (Въ подарокъ
Гитлъ получила его отъ покойницы-тетки. А тетка
Ей рукомойникъ на память въ день свадьбы ея подарила...)
Шопотъ у Гитлъ на устахъ: молитвы свои ежедневно
Тихо читаетъ она. Глаза же смѣются, сіяютъ:
Кажется ей, что сегодня природа улыбкой умильной
Встрѣтила Гитлъ, и весь міръ ликуетъ обильной красою.
Пестрый старухинъ котъ услыхалъ, что хозяйка проснулась,
Жалобно жмется къ ногамъ, и мяучетъ, и нюхаетъ платье.
Впалы бока у него, и клочьями шерсть вылѣзаетъ:
Время такое кошачье: что ночь — раздаются ихъ вопли.
«На тебѣ, старый дуракъ», — на кота проворчала старуха,
И молока въ черепокъ наливши, поставила на полъ.
Жадно лакалъ его котъ, уставъ отъ ночныхъ похожденій.
Глядя на это, и Гитлъ внезапно въ себѣ ощутила
Точно такой аппетитъ. И явственно въ носъ ей ударилъ
Вкусныхъ варениковъ запахъ... Вареники съ сыромъ, въ сметанѣ...
Паръ благовонный восходитъ надъ круглой, горячею миской...
И улыбнулась старуха сама надъ собою: съ чего бы
Это желанье у ней? — И стопы направила въ погребъ.
Погребъ ея на дворѣ. Тамъ сыръ и горшки со сметаной.
Только опустилась она — вдругъ лай услышала громкій
И человѣческій голосъ: «Пошелъ ты прочь, окаянный!»
Э, да вѣдь это Домаха! А Сирка все лаетъ и лаетъ.
Тутъ подымаетъ Домаха свою суковатую палку.
Видно, собачьей спинѣ пришелся ударъ не по вкусу:
Взвизгнувши, песъ побѣжалъ, на трехъ ногахъ ковыляя,
Хвостъ же его между ногъ болтался, трусливо поджатый.
Вышла изъ погреба Гитлъ, встрѣчать нежданную «гою».
«Доброе утро, Гитлъ». «Съ хорошей примѣтой, Домаха,
Нынче встрѣчаю тебя: въ рукѣ моей полная миска».
«Миръ тебѣ, Гитлъ» — и Домаха свой посохъ поставила въ уголъ
Маленькой комнаты той, что для Гитлъ служила и кухней.
«Ну, а здоровье твое?» «Какъ видишь, Домаха, недурно.
Медленно я прохожу свой путь, о милости Божьей.
Ты-то куда собралась?» «Въ костелъ пробираюсь. Да кстати
Хлѣба съ собой каравай да кувшинъ молока захватила.
Это отцу Василью: подарочекъ праздника ради».
«Развѣ же праздникъ сегодня?» «А какъ же? И праздникъ хорошій:
Нынче Микола Малый, забыла ты. Ну, да и наши

Многіе нынче выходятъ по праздникамъ въ поле. Пропала
Вѣра въ народѣ. Къ обѣднѣ — и то немногіе ходятъ.
Все старики, да старухи, насилу живые. Давно ужъ
Силы не стало браниться съ ребятами. Всѣ озорные.
Глянь на него: вѣдь щенокъ! А скажи-ка, чтобъ шелъ онъ къ обѣднѣ:
Сразу распуститъ языкъ: сегодняшній день, молъ, такой же,
Какъ и вчерашній... Все хуже народъ. И въ церквахъ запустѣнье.
Входишь въ ограду — тамъ кто? Слѣпой, хромой да убогій.
Хмурая церковь стоитъ, и отецъ Василій — что туча.
Колокола зазвонятъ — какъ-будто надъ церковью плачутъ...
Ну — и изъ вашихъ, положимъ, отступниковъ тоже не мало.
Тоже: трефное ѣдятъ, а то и цыплятъ по субботамъ.
Помню, была я дѣвченкой: въ субботу, бывало, все вымретъ;
Дрожь по спинѣ пробѣгала: такъ тихо и пусто на рынкѣ.
Нынче же — стыдъ и срамъ: по субботамъ — продажа да купля.
Стыдно, ей-Богу, самой покупать у еврея въ субботу...
Такъ-то вотъ, Гитля. А эти... Ну, — Залманъ хотя бы, къ примѣру:
Третьяго дня приходилъ, овецъ продавать. А вѣдь праздникъ!
— Залманъ, — сказала я, — слушай: ужель ты надѣешься вѣчно
Жить да и жить на землѣ? Иль вовсе о смерти забылъ ты?
Что тебѣ скажетъ Господь? Иль суда ты Его не боишься?
Праздникъ вѣдь нынче! — А онъ — къ моему обращается сыну
И говоритъ ему: — Грица! Отдай-ка ты намъ свою матку.
Пусть она будетъ у насъ раввиномъ! — Вѣдь вотъ что сказалъ, безобразникъ!
Такъ-то... А что это, Гитля? Зачѣмъ тебѣ сыръ и сметана?»
Ей со смущеніемъ Гитлъ отвѣчаетъ: «Сама не пойму я.
Не было силъ устоять: варениковъ такъ захотѣлось —
Просто бѣда! Говорятъ же въ народѣ: что старый, что малый...
Долго живетъ человѣкъ, а все дуракомъ умираетъ».
Въ это мгновенье до слуха донесся звонъ колокольный.
Палку схватила Домаха, и хлѣбъ, и кувшинъ. «До свиданья».
«Путь счастливый тебѣ». — И гостья уйти поспѣшила.
— Правильно Гоя сказала, — подумала съ грустью старуха:
— Хуже и хуже народъ! Мы плохи — а дѣти подавно!
Залманъ-торговецъ... А сынъ мой? А Рейзелэ, внучка? О, горе!
Дай имъ здоровья, Господь, — а все-таки, развѣ такими
Были когда-то мы сами, и дѣды, и прадѣды наши?»
Думая такъ, со стѣны сняла она доску большую,
Сбитую прочно изъ липы слегка розоватыхъ дощечекъ.

Темныя жилки по ней разбѣгались красивымъ узоромъ.
Доску на столъ положивши, берется старуха за сито.
Всыпала въ сито она муки тончайшей, крупчатки,
Чтобы просѣять ее рукою проворной и ловкой.
Снѣжною пылью, казалось, наполнились дырочки сита.
Снѣжная пыль растилалась по гладкой доскѣ и ложилась
Плотнымъ покровомъ по ней, — сверкающимъ бѣлымъ покровомъ.
Осенью первый снѣжокъ не такъ ли на землю ложится, —
Словно отъ князя зимы поцѣлуй и привѣтъ ей приноситъ?
Мелкою, бѣлою пылью мелькаетъ мука, ниспадая.
Вотъ — пронеслась, промелькнула, какъ облачко. Съ каждой пылинкой
Точно прошли передъ Гитлъ минувшіе дни и недѣли, —
Долгіе годы страданій, минуты короткаго счастья.
Вотъ она — дѣвочка... вотъ ужъ — невѣсти и мать и однажды
Вдругъ просыпается Гитлъ старухою, бабушкой... Вотъ ужъ —
Рейзелэ, милая внучка, дай Богъ ей долгіе годы...
Свѣтлою снѣжною пылью сквозь мелкія дырочки сита
Медленно, тихо мука упадаетъ на гладкую доску.
Гитлъ, наконецъ, подгребаетъ ее, на доскѣ образуя
Какъ бы высокій валъ, окружающій впадину. Молча,
Быстрой и легкой рукой муку собираетъ старуха, —
Въ мысляхъ же — Рейзелэ, внучка, дай Богъ ей долгіе годы.

## 2

Чистый, невинный и нѣжный, глаза раскрываетъ ребенокъ.
Весь онъ — какъ замкнутый міръ, и въ душу его не проникнешь.
Дремлютъ до времени въ ней и злыя, и добрыя силы.
Но подрастаетъ ребенокъ подъ сѣнью родительскихъ крыльевъ,
Съ матерью схожъ и съ отцомъ; сначала ихъ жизнью живетъ онъ;
Дни пробѣгаютъ за днями; но вотъ... (Тутъ Гитлъ надъ мукою
Шесть разбиваетъ яицъ и бѣлокъ и желтокъ выливаетъ...
Выливши, мѣситъ она рукою привычною тѣсто.
Вся измѣнилась мука: прозрачно-янтарная стала).

Да, настаетъ-таки день: изъ гнѣзда выпадаетъ ребенокъ.
Всякій прохожій къ нему рукою своей прикоснется,

Грязью своей замараетъ; и тяжко, и грубо касанье
Чуждой руки. Такова ли родителей нѣжная ласка?
Рейзелэ славно цвѣла, весь домъ наполняя весельемъ;
Пѣсенкой солнце встрѣчала, какъ жавронокъ, ранняя пташка;
Къ вечеру склонится солнце — и Рейзелэ глазки закроетъ,
Чтобъ отдохнуть отъ дневного чириканья, пѣнья, плясанья,
Отъ обученія куклы молитвамъ, отъ игръ на песочкѣ...
Вскорѣ, однако жъ, ее увезли изъ мѣстечка далеко:
Въ городъ отецъ переѣхалъ. И лѣтъ черезъ пять лишь старуха
Милую внучку свою опять увидала. Но что же?
Въ Рейзелэ Гитлъ не узнала прежняго птенчика. Только
Нѣсколько быстрыхъ мгновеній въ объятіяхъ бабушки нѣжной
Слушала Рейзелэ голосъ минувшаго. Но промелькнули
Эти мгновенья, и внучка прекрасные глазки раскрыла,
Словно безмолвнымъ вопросомъ въ старухино сердце проникла,
Чтобъ разгадать это сердце, для Рейзелэ ставшее чуждымъ.
Видѣла, видѣла Гитлъ, что все измѣнилось, что даже
Сынъ ея — словно другой. Но глаза закрывала старуха,
Точно боялась она смотрѣть на все, что творится.

Тѣсто же стало межъ тѣмъ на топазъ индійскій похоже.
Гладкую скалку тогда старуха взяла и по тѣсту
Крѣпко ей стала водить по всѣмъ направленіямъ, чтобы
Тѣсто свое раскатать широкимъ и правильнымъ кругомъ,
Чтобы его толщина повсюду была равномѣрна,
Чтобы нигдѣ ни бугровъ, ни впадинъ на немъ не осталось.
Вотъ уже тонко оно, какъ будто прилежнымъ рубанкомъ
Сглажено... Только порой упрямилось липкое тѣсто,
Цѣпко, упорно хватаясь за гладкое дерево; къ скалкѣ
Точно ласкалось оно, прилипая упрямо и прочно...
Долго съ нимъ Гитлъ провозилась, умѣло съ работой справляясь...

Минуло цѣлыхъ два года межъ этимъ свиданьемъ и новымъ:
Вотъ уже внучка ея — гимназистка, въ коричневомъ платьѣ
Форменномъ. Узкія плечи и тонкая талія тѣсно
Схвачены платьемъ казеннымъ, какъ будто бы мощной рукою.
Въ Рейзелэ все по порядку, по формѣ, по мѣркѣ. Стѣсненно
Ручкою движетъ она по указу начальства. Поклоны
Дѣлать ее научили и взвѣшивать каждое слово.
Книжка въ рукахъ у нея: сочиненія Пушкина, въ красномъ,

Пышномъ такомъ переплетѣ съ тисненьями золотомъ. Книжка
Рейзелэ строгимъ начальствомъ дана «за успѣхи въ наукахъ
И прилежанье.» За книжкой весь день просидѣла дѣвчурка,
Стихъ за стихомъ нараспѣвъ, отчетливо, громко читая.
Пламя въ глазахъ у нея, и пламенемъ щеки пылаютъ.
Книжка была драгоцѣнна и внучкѣ, и Гитлъ. Ежедневно
Рейзелэ книжку читала; когда же она засыпала,
Пушкина ставила Гитлъ на полку, гдѣ прочія книги:
Цéно-урено* и тхинесъ**, что сложены Саррой батъ Тувимъ.
Сердце старухино, правда, ее укоряло за это, —
Все жъ оправданье она находила такому трефъ-пóсулъ***.
Книга вѣдь эта была не то, что прочія книги
Рейзелэ...

Въ эту минуту стаканъ достала старуха,
Крѣпко его приложила къ готовому тѣсту, нажала,
Словно отточенный ножъ, краями онъ врѣзался въ тѣсто, —
И получился кружокъ, а потомъ и другіе такіе жъ,
Какъ близнецы иль сосуды, по формѣ отлитые общей.

Клещи порядковъ и правилъ впиваются въ душу ребенка,
Ставятъ ее — и по волѣ, которой противиться тщетно,
Все бытіе малыша въ суровую форму втѣсняютъ.
Вотъ ужъ душа у ребенка запугана, скомкана, смята
Долгимъ и тягостнымъ гнетомъ, готовымъ ее уничтожить.
Все убываетъ она, какъ свѣча подъ порывами вѣтра.
Вотъ ужъ нѣтъ ея вовсе. Но нѣкогда день наступаетъ —
Школу свою ученикъ покидаетъ, и всѣ его мысли —
Мысли прочитанныхъ книгъ, и душа его — тоже изъ книги.
Смотритъ на міръ онъ глазами учителя. Въ гнетѣ учебы
Душу свою потерялъ онъ — на время...

Тутъ сыру достала
Гитлъ, и растерла его, и въ глиняной мискѣ смѣшала
Съ яйцами. Взявши потомъ немного этой начинки,
Гитлъ положила ее на одинъ изъ кружковъ, что стаканомъ
Были нарѣзаны. Сверху — такимъ же накрыла кружочкомъ,
Тѣсто рукой по краямъ защипнула — и слиплись кружочки.

---

* и ** Молитвенники для женщинъ.

*** Свѣтская, недозволенная книга.

Въ школѣ ребенка душа за себя перестала бороться;
Все получила она изъ рукъ учителя чуждыхъ,
Чуждымъ ученьемъ прониклась... Но время проходитъ, изъ класса
Въ жизнь вступаетъ она: роднымъ и наставникамъ радость.
Но изъ-подъ гнета оковъ порой вызволяетъ ребенокъ
Душу свою, и она сокровенною злобой, враждою
Вѣчною полнится къ тѣмъ, кто ее заставлялъ поклоняться
Чуждымъ святынямъ. Но какъ же излить ей досаду и горечь?
Вотъ и влечется она ко всему, что мучители прежней
Ей запрещали такъ строго...

Но минули годы, и къ бабкѣ
Рейзелэ дѣвушкой взрослой въ родное гнѣздо возвратилась.
Только веселья былого не стало въ ней. Взоръ углубился
И опечалился. Молча сидѣла она и читала
Денно и нощно, пока керосину въ лампѣ хватало.
И захотѣла старушка порадовать внучку. Изъ шкафа
Пушкина вынула Гитлъ. Но губы скривила въ гримасу
Рейзелэ, такъ что старухѣ обидно за Пушкина стало,
Словно обида его ей въ самое сердце кольнула.
И съ огорченіемъ Гитлъ поставила книгу на полку,
Рядышкомъ съ цено-урено и тхинесъ...

Еще не готовы
Были вареники Гитлъ, а тамъ, на плитѣ, ужъ кипѣла,
Паръ воздымая, вода, — и въ горшкѣ пузыри клокотали.
Стала вареники класть въ кипятокъ старуха — и въ клубахъ
Пара сокрылись они...

Но залаяла Сирка, и тотчасъ
Ясно донесся до Гитлъ мужской разгнѣванный голосъ.
Вышла старуха во дворъ и увидѣла тамъ почтальона.
Рейзелэ почеркъ знакомый узнала она, и вернувшись,
Съ радостно бьющимся сердцемъ конверта края разорвала,
Ближе къ окну подошла, чтобы видѣть яснѣе... Но блѣдность,
Блѣдность смертельная вдругъ лицо покрываетъ старухѣ.
Вотъ, ухватилась она за край стола, чтобъ на землю
Прямо не грохнуться тутъ же. Но вотъ — овладѣла собою,
Сѣла на стулъ и читаетъ... Строкъ десять, не болѣе, было
Въ этомъ письмѣ, но какъ много сказали старухѣ тѣ строки!

«Я арестована, жду суда въ Петропавловкѣ». Значитъ...
Рейзелэ, значитъ, въ тюрьмѣ?... О, Рейзелэ, Рейзелэ!... Боже!
Мнится старухѣ, что ближе, все ближе ужасное что-то...
Вотъ уже близко совсѣмъ — подошло, навалилось и давитъ.
Силъ у нея не хватаетъ отъ ужаса скрыться. А мысли —
Мысли бѣгутъ, обрываясь, тускнѣютъ, мѣшаются, меркнутъ...
Сѣла старуха и смотритъ невидящимъ взоромъ.

А солнце,
Теплое солнце весны, поднялось и за́лило свѣтомъ
Поле, и лѣсъ, и луга. И лучъ на лицѣ у старухи
Тихо играетъ; она же сидитъ неподвижно и слышитъ
Рокотъ и ропотъ воды, клокотанье, бурленье, — и видитъ
Паръ надъ горшкомъ, пузыри — и вареники въ пѣнѣ кипящей.

*Перевелъ Владиславъ Ходасевичъ.*

★

Х. ГРИНБЕРГЪ

# БОРЬБА ЗА НАЦІОНАЛЬНУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

★

# БОРЬВА ЗА НАЦІОНАЛЬНУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

## I

Является ли національность самодовлѣющей цѣнностью, или же она имѣетъ для насъ значеніе исключительно въ связи или въ примѣненіи къ опредѣленнымъ явленіямъ соціальной жизни? На этотъ основной вопросъ національной проблемы мы до сихъ поръ еще получаемъ два различныхъ, другъ другу противоположныхъ отвѣта. Отвѣты на этотъ вопросъ по своему существу находятся въ тѣсной зависимости отъ общаго направленія міросозерцанія и характера міроощущенія тѣхъ идеологовъ, которыхъ вопросъ занимаетъ.

Если бы мы пожелали свести всѣ духовныя теченія человѣчества на протяженіи міровой исторіи къ двумъ центральнымъ и противоположнымъ другъ другу моментамъ, то, можетъ быть, было бы не парадоксомъ сказать, что духовная жизнь человѣчества — устремленія народовъ, соціальныхъ группъ и отдѣльныхъ личностей — вращаются вокругъ одного изъ слѣдующихъ двухъ моментовъ, понимаемыхъ въ ихъ наиболѣе широкомъ, обобщенномъ смыслѣ: вокругъ утилитаризма и вокругъ эротизма.

Подъ утилитаризмомъ мы понимаемъ всякаго рода духовное теченіе, которое единственнымъ критеріемъ цѣнности какого-либо человѣческаго поступка или дѣйствія признаетъ исключительно точку зрѣнія полезности, независимо отъ того, что мы подъ полезностью понимаемъ. Подъ это понятіе утилитаризма можно подводить даже и такого рода духовныя теченія, которыя рекомендуютъ человѣчеству отречься отъ цѣлаго ряда матеріальныхъ благъ и эмпирическихъ выгодъ, — отъ всего того, что мы въ житейскомъ обиходѣ называемъ «полезнымъ» или «пріятнымъ». Ибо вмѣсто этой житейской полезности многіе утилитаристы выдвигаютъ полезность другого характера, хотя бы, напримѣръ, этическую полезность. Тѣ представители этики и духовнаго начала жизни, которые рекомендовали человѣчеству окончательно освободиться отъ

всего того, что его волнуетъ и занимаетъ въ повседневной жизни, и поставить себѣ единственной цѣлью своего существованія осуществленіе опредѣленныхъ этическихъ принциповъ (справедливости или любви), въ сущности говоря, тоже являлись утилитаристами, съ той только разницей, что они наивысшую «пользу» и человѣческое благо усматривали въ чемъ-то другомъ, чѣмъ ихъ усматривали утилитаристы матеріалистическаго направленія. Подъ эротизмомъ же мы понимаемъ такой строй человѣческихъ мыслей и чувствъ, который наиболѣе цѣннымъ въ нашей жизни признаетъ не тѣ цѣли, къ которымъ мы сознательно стремимся, изъ логическаго соображенія ихъ полезности, матеріальной или этической, а исключительно удовлетвореніе тѣхъ, порою «безцѣльныхъ» и часто «необъяснимыхъ», влеченій, — которыя заложены въ человѣка, — того эротическаго духа, который заставляетъ насъ часто стремиться къ опредѣленнымъ объектамъ, внутренняя цѣнность которыхъ или совершенно не поддается раціонализаціи или же поддается ей въ весьма относительной степени. Въ этой безотчетности, которая заключается во всякомъ такомъ стремленіи, и которая освобождаетъ его отъ всякой матеріальной или духовной «корысти», въ этомъ сознаніи своего права и своей обязанности стремиться къ опредѣленнымъ объектамъ не потому, что для насъ ясна ихъ «польза» или ихъ преимущество передъ другими объектами, а потому, что существуетъ неопредѣлимая, хотя и глубоко реальная, интимная связь между стремящимися субъектами и предметомъ стремленія — въ этомъ, собственно, и заключается основной моментъ того, что мы называемъ эротизмомъ.

Эти два направленія человѣческой мысли ведутъ между собою очень интенсивную борьбу на фонѣ исторіи, то побѣждая одно другое, то существуя одновременно и вмѣстѣ въ одномъ и томъ же обществѣ, но выдвигая въ его предѣлахъ различные элементы, являющіеся носителями то одного, то другого начала. И въ зависимости отъ того или другого направленія человѣческой мысли — утилитарнаго или эротическаго — и по настоящее время даются два противоположныхъ отвѣта на поставленный нами вопросъ: есть ли національность самодовлѣющая или только относительная цѣнность?

Утилитаризмъ по самой своей природѣ склоненъ обезцѣнивать элементъ національности. Такой утилитаристъ, какъ Діогенъ, естественно, не долженъ былъ признавать націонализмъ. Не даромъ этотъ греческій циникъ, который обезцѣнивалъ все красочное, все стильное и художественное, однимъ словомъ, все «эротическое» въ

жизни, и сводилъ все положительно цѣнное исключительно къ осуществленію опредѣленнаго количества абстрактныхъ принциповъ, говорилъ о томъ, что отсутствіе отечества есть истинное счастье, не даромъ онъ себя называлъ Apolis'омъ, человѣкомъ внѣ государства, внѣ родины и націи. Не случайность и то, что позднѣйшіе греческіе циники проповѣдывали идею «единаго стада» и «мірового гражданства», а послѣдователи стоической школы съ ихъ прикладной моралью были самыми ревностными прововѣстниками чистаго космополитизма. Первые отцы христіанской церкви, передъ которыми стояла одна такая всеобщая и заслоняющая всѣ другіе моменты утилитарно-этическая задача, какъ водвореніе на землѣ Царствія Божія, которые стремились какъ бы обезкровить человѣка, лишить его всего стильно индивидуальнаго, именно всѣхъ тѣхъ моментовъ, которые дѣлаютъ его «эротическимъ» существомъ, также должны были относиться съ самаго начала отрицательно къ національному моменту. Они также, подобно Діогену, были утилитаристами, людьми, которые разсматривали всю жизнь подъ угломъ зрѣнія опредѣленной «полезности», правда, особой полезности, сулившей не житейскія, матеріальныя блага, а то высшее духовное благо, которое они болѣе всего цѣнили. Не даромъ и такой моралистъ, какъ Толстой, стремившійся втеченіе всей своей литературной дѣятельности послѣдняго періода, также какъ и его родоначальники по духу, отцы и основатели христіанской церкви — къ тому, чтобы обезкровить человѣка и лишить его той именно эмоціональной сферы, которая дѣлаетъ его носителемъ эротическихъ устремленій, относился отрицательно къ національному моменту. Въ конечномъ счетѣ, онъ также былъ утилитаристомъ и, поскольку онъ былъ таковымъ, ему была чужда эротическая природа націонализма. Утилитаристы другого, не этическаго, а матеріалистическаго направленія (я имѣю въ виду, главнымъ образомъ, идеологовъ соціалистическаго движенія), также должны были, по крайней мѣрѣ, въ первый періодъ своего развитія, относиться отрицательно къ національному моменту. Для людей, которые, подобно отцамъ церкви, подобно Толстому, подобно Діогену, также исповѣдывали опредѣленную точку зрѣнія полезности, усматривая всю цѣнность жизни въ удовлетвореніи опредѣленнаго круга матеріальныхъ потребностей, долженъ былъ долгое время быть не пріемлемымъ моментъ національности, который въ сущности, таитъ въ себѣ, главнымъ образомъ, разрѣшеніе извѣстнаго круга эротическихъ устремленій. Этимъ именно утилитаризмомъ и объясняется глубоко отрицательное отношеніе

основателей соціалистическаго движенія въ Европѣ къ національному вопросу; этимъ объясняется ихъ пренебреженіе къ вопросу національной культуры и даже къ вопросу о политической самостоятельности малыхъ націй. Правда, жизнь впослѣдствіи заставила и представителей соціализма пересмотрѣть свое отношеніе къ національному вопросу, и многіе изъ нихъ должны были потомъ признать національное движеніе, какъ одинъ изъ важнѣйшихъ факторовъ въ исторіи человѣчества. Но и теперь большинство идеологовъ соціализма въ своемъ признаніи важности національнаго вопроса исходятъ, главнымъ образомъ, изъ необходимости разгрузить классовую борьбу отъ всего того, что мѣшаетъ ея свободному и безпрепятственному развитію, изъ желательности освободить борьбу восходящаго класса съ господствующимъ классомъ отъ тѣхъ національныхъ треній, которыя часто врываются въ эту борьбу, затемняя классовое самосознаніе и мѣшая идеѣ борьбы за созданіе новыхъ условій человѣческой жизни выкристаллизоваться съ достаточной рельефностью. Они поэтому готовы разрѣшить цѣлый рядъ острыхъ національныхъ вопросовъ, не во имя осуществленій той или другой національной идеи, представляющей собою самодовлѣющую цѣнность, а исключительно потому, что въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ они усматриваютъ средство для облегченія процесса классовой борьбы. Второе соображеніе, изъ котораго исходятъ въ настоящее время большинство идеологовъ соціализма въ своемъ признаніи важности національнаго вопроса, зиждится просто на абстрактномъ принципѣ человѣческой свободы. Разъ еще существуютъ на свѣтѣ опредѣленныя группы, чувствующія себя особыми-національными индивидуальностями, то представители соціалистическаго движенія не считаютъ себя нравственно и политически вправѣ санкціонировать то политическое угнетеніе, которому эти національности подвергаются. Въ данномъ случаѣ они относятся къ націонализму съ тѣмъ же нейтралитетомъ, съ которымъ они относятся къ вопросамъ религіи и вѣры: разъ есть люди, которые имѣютъ опредѣленныя религіозныя потребности, то, независимо отъ нашего отношенія къ этимъ потребностямъ, государство должно обезпечить возможность ихъ удовлетворенія.

Такое отрицательное отношеніе со стороны соціалистическаго движенія къ націонализму вполнѣ соотвѣтствуетъ духу движенія, въ которомъ участвуетъ классъ, восходящій въ настоящее время по соціальной лѣстницѣ. Всякая восходящая соціальная группа, которая должна еще завоевывать себѣ мѣсто и пріобрѣсти опредѣлен-

ную почву подъ ногами, обязательно обречена, на первыхъ порахъ своего развитія, на утилитарно — раціоналистическое настроеніе. Необходимость борьбы и концентраціи воли на единой точкѣ, необходимость устранить со своего пути все то, что способно отвлечь вниманіе и энергію отъ исполненія центральной задачи, стоящей передъ такой соціальной группой, неизбѣжно заставляетъ ее и ея идеологовъ въ теченіе перваго періода своей дѣятельности и борьбы игнорировать все то, что не укладывается въ рѣзко-ограниченныя рамки той задачи, которая стоитъ передъ нею. Но съ теченіемъ времени восходящая соціальная группа, все болѣе и болѣе укрѣпляя свою позицію въ соціальной жизни, пріобрѣтая болѣе твердую почву подъ своими ногами, начиная уже нѣсколько отдыхать отъ первыхъ этаповъ тяжелой и всеохватившей ее борьбы, становится все болѣе и болѣе воспріимчивой къ пониманію цѣнности такихъ моментовъ, которые она въ первый періодъ своего развитія совершенно игнорировала. Чѣмъ тверже и устойчивѣй становится соціальная позиція восходящаго класса, чѣмъ больше матеріальной и духовной «роскоши» онъ можетъ себѣ позволить, чѣмъ сильнѣе и чѣмъ, слѣдовательно, богаче онъ становится въ духовномъ отношеніи, пріобщаясь къ тѣмъ благамъ культуры, которыя до того времени были ему не доступны, чѣмъ культурнѣе, и, слѣдовательно, индивидуалистичнѣе онъ становится — тѣмъ болѣе расширяется та база, на которой и въ его средѣ начинаютъ развиваться тѣ или иныя устремленія эротическаго характера. И чѣмъ шире то мѣсто, которое этого рода стремленія занимаютъ въ жизни восходящаго класса, тѣмъ воспріимчивѣе онъ становится къ національной идеѣ въ ея чистомъ, самодовлѣющемъ видѣ. То же самое должно будетъ произойти и съ тѣмъ восходящимъ классомъ, свидѣтелями развитія котораго мы являемся въ настоящее время. Симптомы коренного перелома въ отношеніи соціалистическаго движенія къ національной проблемѣ мы уже видимъ за послѣдніе годы. Достаточно только вспомнить такихъ выдающихся идеологовъ западнаго соціализма, какъ Ферри и Пернерсторферъ, которые уже стали напоминать своимъ единомышленникамъ о томъ, что коллективизмъ желаетъ болѣе высокаго развитія человѣчества, и что, такъ какъ человѣчество живетъ въ національныхъ формахъ, то коллективизмъ, естественно, *долженъ желать* существованія свободныхъ, самостоятельныхъ и самосознательныхъ націй. Особенно ярко эти симптомы проявились въ одной изъ рѣчей покойнаго Жореса, въ которой онъ указалъ на то, что личности съ ихъ характерными штрихами и своеобразіемъ не

только не смѣшаются и не уничтожатся въ будущей соціалистической организаціи, но что эти личности — какъ индивидуальныя, такъ и коллективныя въ видѣ національностей и народовъ — въ будущемъ соціальномъ строѣ должны будутъ только пріобрѣсти широкій просторъ для своего индивидуальнаго развитія. Изъ этого прогноза апостолъ соціализма умозаключалъ, что «нашей обязанностью въ настоящее время является сохранить для того счастливаго будущаго всѣ тѣ коллективныя индивидуальности, которыя существуютъ въ настоящее время, дабы онѣ впослѣдствіи получили возможность полнаго и мощнаго развитія».

Такимъ образомъ, съ усиленіемъ индивидуальныхъ и, такъ сказать, «эротическихъ» запросовъ человѣчества должно будетъ установиться положительное отношеніе къ національности въ качествѣ самодовлѣющей цѣнности, должно будетъ углубиться сознаніе великой цѣнности національнаго *я*.

## II

Что же такое представляетъ собою это національное *я*?

На этотъ вопросъ мы также встрѣчаемся съ двумя различными, другъ другу противоположными отвѣтами, изъ которыхъ, собственно, и вытекаютъ два различныхъ пониманія націонализма.

Одно воззрѣніе разсматриваетъ національное *я*, какъ нѣчто разъ навсегда данное и фиксированное. Это воззрѣніе, въ своей основѣ восходящее еще къ Гегелю, разсматриваетъ національный духъ, какъ нѣчто постоянное, существующее само по себѣ и само въ себѣ, независимо отъ тѣхъ или другихъ историческихъ измѣненій или наслоеній. Представители этого воззрѣнія возвели національный духъ, національное *я*, въ какое то независимое отъ нашей эмпирической жизни метафизическое существо. Съ такимъ же спиритуалистическимъ толкованіемъ понятія національнаго *я* мы встрѣчаемся у многихъ русскихъ славянофиловъ, находившихся подъ вліяніемъ гегельянства и стремившихся зафиксировать сущность русскаго національнаго *я*, свести его къ опредѣленной, извѣчной, незыблемой схемѣ чертъ и особенностей. Лучшіе славянофилы стремились доказать, что есть цѣлый рядъ культурныхъ цѣнностей, которыя совершенно не могутъ развиваться на русской почвѣ, органически противорѣча русскому національному *я*, что, наоборотъ, русское національное *я*, заключаетъ въ себѣ такое духовное содер-

жаніе, которое не можетъ быть заимствовано какимъ-либо другимъ западнымъ народомъ. Это метафизическое воззрѣніе, считающее культурныя судьбы каждой націи какъ бы предрѣшенными, старается уложить національный духъ каждаго народа въ рамки одной опредѣленной формулы, вѣря, что такая формула дѣйствительно способна опредѣлять собою грани, за которыя національное «я» не переступаетъ.

Въ еврейской литературѣ отраженія такого воззрѣнія на сущность національнаго *я* наиболѣе рельефно проявляются въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ Ахадъ-Гаама, стремящагося свести еврейское національное *я* къ опредѣленной суммѣ философскихъ истинъ и установить, что внѣ исповѣданія и внѣ осуществленія этихъ истинъ нѣтъ еврейской національности, и что, если современное живое, конкретное еврейство отречется отъ той или другой изъ этихъ истинъ, оно этимъ самымъ лишится своего еврейскаго характера. Это безусловно консервативное по своимъ тенденціямъ воззрѣніе считаетъ, что въ извѣстный періодъ своего историческаго развитія народъ создалъ опредѣленный характеръ для своей національной культуры, который, ставши какъ бы неприкосновеннымъ, не можетъ и не долженъ уже быть измѣняемъ во всемъ дальнѣйшемъ процессѣ историческаго развитія народа. Къ представителямъ этого же воззрѣнія относятся и тѣ метафизическіе идеологи, которые пытались и пытаются установить принципъ раздѣленія труда между различными національностями въ томъ смыслѣ, что каждая національность является какъ бы «спеціалистомъ» въ опредѣленной области матеріальной или духовной культуры, и что предопредѣленная для своей «спеціальности» та или другая нація лишена уже органической возможности проявлять свое творчество въ какой-либо изъ другихъ областей культуры, являющихся спеціальностями другихъ народовъ. Это тѣ именно идеологи, которые пытались отдать римлянамъ талантъ государственнаго строительства, грекамъ чисто пластическія дарованія, евреямъ чувство справедливости, нѣмцамъ способность стройно-логическаго философскаго мышленія и т. д., «обрекая» каждую націю на опредѣленную «миссію», отъ которой она не вольна отказаться, теоретически закрывая каждому народу возможность проникновенія въ «непринадлежащую» ему область.

Въ противовѣсъ этимъ духовно-порабощающимъ теоріямъ все болѣе и болѣе кристализуется во всей своей реальности и соотвѣтствіи истинному процессу историческаго развитія другое воззрѣніе, согласно которому нація есть не группа людей съ разъ навсегда застывшимъ культурнымъ и психологическимъ обликомъ, а живой

соціальный организмъ, находящійся въ процессѣ безпрерывнаго *становленія,* причемъ характеръ этого становленія всегда опредѣляется въ большей или меньшей степени и всей той суммой культурныхъ и психологическихъ накопленій, которыя образовались у народа на его прошлыхъ историческихъ путяхъ. Національное *я,* согласно этому воззрѣнію, не поддается точной логической формулировкѣ. Современная наука не знаетъ еще той соціальной или психологической химіи, съ помощью которой намъ удалось бы разложить національную психику на ея составные элементы, подвергнуть ее количественному анализу. То, что мы называемъ національнымъ духомъ или національнымъ *я,* есть нѣчто неформулируемое, нѣчто неуловимое во всей своей жизненной реальности, и какъ бы мы ни стремились опредѣлить какой-нибудь сложной или упрощенной формулой характеръ того или иного народа, намъ это никогда не удается. Существуетъ, напримѣръ, представленіе о нѣмецкомъ народѣ, какъ о народѣ мечтателей и философовъ, и представленіе это опирается на тотъ фактъ, что этотъ народъ выдвинулъ изъ своей среды наиболѣе мощныхъ мыслителей Европы и наиболѣе мечтательныхъ романтическихъ поэтовъ. Но соотвѣтствуетъ-ли такое опредѣленіе цѣлому ряду другихъ впечатлѣній, которыя мы получаемъ отъ непосредственной жизнедѣятельности нѣмецкаго народа, въ которой мы наблюдаемъ столь же рельефное проявленіе практическаго и утилитарнаго духа, порою заслоняющаго для насъ склонность нѣмцевъ къ грезамъ и абстракціямъ. Существуетъ представленіе объ англійскомъ народѣ, какъ о народѣ съ ярко выраженными утилитаристическими чертами, но этотъ же самый ультра-практичный народъ знаетъ о такомъ количествѣ религіозныхъ сектъ, какого мы не встрѣчаемъ почти ни у одного народа въ Европѣ. Англійскій народъ считаютъ народомъ побѣдителей, народомъ путешественниковъ, покорителей морей, эмигрантовъ, туристовъ и колонизаторовъ, его принято считать самымъ подвижнымъ народомъ, совершенно не прикрѣпленнымъ къ своей землѣ и родинѣ, но ни у одного народа въ мірѣ мы не видимъ такой убѣжденной любви и глубокаго піэтета къ своему семейному очагу, какую мы наблюдаемъ у средняго англичанина. Съ какой бы характеристикой мы ни подходили къ тому или иному народу, мы всегда рискуемъ натолкнуться на различнаго рода внутреннія противорѣчія и контрасты, и никогда мы не бываемъ въ состояніи образовать такую формулу, которая ясно и болѣе или менѣе точно очертила бы психологическія грани между одной націей и другой. И все же эти грани — неуловимыя, невы-

разимыя, неподдающіяся фиксаціи — реальны, какъ сама жизнь этихъ народовъ, какъ сама существующая между ними несомнѣнная «разность». Все то, что мы называемъ національными особенностями, національнымъ духомъ или національнымъ я, не есть нѣчто постоянное, на всю историческую жизнь опредѣленное; одни и тѣ же элементы могутъ быть составными частями психологіи любого народа, но комбинаціи, сочетанія этихъ элементовъ, пропорціональное соотношеніе между ними, степень противоположности и несоотвѣтствія между одними и другими элементами въ національной психикѣ — эти именно ньюансы и неуловимые оттѣнки и создаютъ то, что мы называемъ національной душой и національнымъ *я*. Національное *я* есть, такимъ образомъ, опредѣленная *система* такихъ элементовъ, которые сами по себѣ общечеловѣчны, универсальны и, такъ сказать «нейтральны» въ національномъ отношеніи, причемъ сама эта *система* можетъ значительно измѣняться въ процессѣ историческаго развитія народа, вбирая въ себя новые элементы, подчеркивая и затушевывая въ себѣ то одно, то другое начало. Но при всѣхъ своихъ измѣненіяхъ — какими бы существенными и даже коренными они ни были — эта система, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ сохранить все свое національное своеобразіе. При этомъ, единственно пріемлемомъ пониманіи національнаго «*я*», надъ *итогами* исторической жизни націи возвышаются ея неограниченныя и неопредѣлимыя *потенціи*. Нормальная національная жизнь и есть разряженіе этихъ потенцій, а дѣйствительные національные идеалы являются ничѣмъ инымъ, какъ стремленіемъ къ освобожденію процесса разряженія отъ всего того, что способно ему препятствовать. Наличность и роль потенціальнаго начала въ природѣ національности и служатъ базой, на которой зиждится то безпрерывное національное *становленіе*, которое мы противополагаемъ такъ называемой національной *сущности*. И если еще можетъ быть рѣчь о формулировкѣ такой *сущности* по отношенію къ націи, уже окончательно исчерпавшей всѣ свои потенціальныя возможности, т.-е. уже прекратившей свое существованіе, то совершенно уже неосновательно дѣлать какіе-нибудь обязательные выводы изъ національной «субстанціи» живого народа, потенціи котораго таятъ въ себѣ столь много новаго и противорѣчиваго, столь много неизвѣданнаго и неожиданнаго для него самого. Въ этомъ смыслѣ гораздо болѣе соотвѣтствуетъ истинѣ то теченіе, которое, въ различныхъ варіаціяхъ, воплощается у насъ, въ противовѣсъ ахадъ-гаамизму, въ произведеніяхъ Бердичевскаго, съ одной стороны, и Бубера съ дру-

гой стороны. Какъ для Бердичевскаго, не видящаго ничего существенно дисгармонирующаго въ перенесеніи нитцшеанской морали на еврейскую почву, такъ и для Бубера, интуитивно постигающаго въ нашей прошлой культурѣ элементы «подпольнаго» іудаизма, значительно противорѣчащаго тому офиціальному, канонизированному іудаизму, который Ахадъ-Гаамъ считаетъ основой еврейскаго націонализма, — еврейское національное «*я*» не укладывается ни въ какую схему.

Еврейское національное *я* есть для нихъ та сила, которая каждому акту еврейской жизнедѣятельности и каждому моменту культурнаго заимствованія придаетъ свой еврейскій отпечатокъ, причемъ сущность и содержаніе культурной жизни, идеаловъ, нормъ, принциповъ, цѣнностей этическихъ, философскихъ и религіозныхъ могутъ мѣняться въ историческомъ процессѣ жизни народа, совершенно не уничтожая еврейскаго національнаго *я*. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно убѣдительна та разница, которую Бердичевскій проводитъ между эпохой перваго храма и эпохой второго храма. На основаніи сопоставленія этихъ двухъ эпохъ, Бердичевскій ставитъ вопросъ: что является болѣе типичнымъ и характернымъ для еврейскаго національнаго *я* — та ли ширь красочной земной жизни, которую мы видимъ въ эпоху перваго храма съ ея почти языческимъ бытомъ палестинскаго еврейства или же тотъ аскетизмъ, который развивался въ еврействѣ въ послѣдній періодъ его жизни въ Палестинѣ, въ эпоху второго храма? Гдѣ намъ искать подлинное проявленіе еврейскаго національнаго *я;* въ красотахъ Библіи съ ея гармоніей и ритмичностью, уживающимися въ ней съ пламенемъ высочайшаго паѳоса человѣческой души или же въ Талмудѣ, угасившемъ пламень еврейскаго сердца и положившемъ начало его порабощенію? Не смотря на столь существенныя различія, какія существуютъ между культурами двухъ наиболѣе замѣчательныхъ эпохъ еврейской исторіи, Бердичевскій, по справедливости, считаетъ, что еврейское національное *я* одинаково сказалось въ духовной жизни обѣихъ эпохъ. Ибо «духъ» какой либо націи опредѣляется не сущностью и содержаніемъ, а той своеобразной формой, въ которую нація облекаетъ свои культурныя переживанія и творчество. Нація есть пигментирующій организмъ и, творя свою жизнь, въ томъ случаѣ, когда послѣдняя не насилуется волей какого-либо другого народа, — она, даже заимствуя чужія культурныя цѣнности, не теряетъ этимъ своей индивидуальности, а, наоборотъ, еще болѣе обогащаетъ ее, ибо, заимствуя элементы чужой культуры, свобод-

ная нація придаетъ имъ свой своеобразный отпечатокъ, гармонизируя ихъ со своими особенностями, придавая имъ характеръ своего національнаго своеобразія. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что, если бы встрѣча между еврейской культурой и эллинизмомъ въ древности произошла при другихъ политическихъ условіяхъ, если бы эллинизмъ не навязывался силой оружія сирійско-греческимъ населеніемъ палестинскому еврейству — если бы еврейская культура встрѣтилась съ эллинизмомъ въ мирномъ соревнованіи исостязаніи — то палестинское еврейство вобрало бы въ себя много цѣннаго изъ древней эллинской культуры, которая растворилась бы впослѣдствіи въ еврейской культурѣ и получила бы національный характеръ. Въ томъ-то и заключается основная сущность націи, что она — не сущность, а форма, окраска и стиль. Содержаніе болѣе тяготѣетъ къ универсальному, форма — къ національному, подобно тому, какъ логика тяготѣетъ къ всечеловѣческому, психологія — къ народному, наука — къ всеобщности, искусство — къ индивидуальности. Національнымъ мы поэтому вправѣ называть все то, что нація проявляетъ въ своей жизнедѣятельности по собственной никѣмъ и ничѣмъ нестѣсняемой волѣ. Изъ такого пониманія «національнаго» вытекаетъ и совершенно другое пониманіе національнализма, который, въ противоположность мертвящему, безусловно реакціонному національному, всецѣло опирающемуся на фиксированные итоги національной культуры, не ставитъ никакихъ преградъ къ дальнѣйшему развитію народа, предоставляетъ народу право непосредственно реагировать на весь окружающій міръ, заимствовать при этомъ какія угодно культурныя цѣнности у какого угодно народа, откликаться живымъ сердцемъ на всѣ явленія и теченія вселенской жизни. И этотъ именно раскрѣпощающій національнализмъ, открывающій неизмѣримо широкій просторъ для развитія народа, не втискивающій его духа въ тѣ или другія рамки — философскія, религіозныя или этическія — положенъ, какъ мы увидимъ въ дальнѣйшемъ, въ основу сіонистскаго движенія. Съ этой точки зрѣнія мы имѣли бы право формулировать сущность сіонизма слѣдующимъ образомъ: *сіонизмъ стремится къ превращенію еврейскаго народа въ свободную, никѣмъ и ничѣмъ нестѣсняемую въ проявленіи и развитіи коллективную индивидуальность.* Ибо сіонизмъ стремится не къ сохраненію еврейства въ томъ видѣ, въ которомъ оно застыло на опредѣленной точкѣ своего развитія, а къ свободному разряженію въ процессѣ дальнѣйшаго развитія его неисчерпаемыхъ и неподдающихся фиксаціи потенціальныхъ силъ.

## III

За послѣдніе годы сіонизму противопоставляется другое національное движеніе въ еврействѣ, также какъ и сіонизмъ, обѣщающее превращеніе еврейства въ свободную индивидуальность, но безъ необходимаго съ точки зрѣнія сіонизма условія — безъ территоріальной концентраціи. Это то автономистское движеніе въ еврействѣ, которое разбилось уже за послѣднія нѣсколько лѣтъ на цѣлый рядъ теченій, опирающихся, главнымъ образомъ, на принципъ персональной автономіи. Къ разбору цѣнности этого принципа мы теперь и должны будемъ перейти для выясненія того, насколько дѣйствительно національно-персональная автономія способна разрѣшить національную проблему меньшинства въ томъ ея широкомъ смыслѣ, въ которомъ мы ее до сихъ поръ трактовали.

Основной грѣхъ сторонниковъ національно-персональной автономіи состоитъ въ томъ, что они смѣшиваютъ соціологическій вопросъ съ вопросомъ государственнаго права. Въ сущности говоря, принципъ персональной автономіи есть ни болѣе ни менѣе, какъ своего рода декларація государства, заявляющаго, что оно ничего не имѣетъ противъ свободнаго и самаго широкаго развитія той или другой входящей въ его составъ національности, что оно готово — постольку, поскольку это зависитъ отъ органовъ управленія — предоставить каждой націи правовую возможность проявленія своего *я*. Но этотъ моментъ государственнаго права, который имѣетъ свою очень продолжительную исторію, особенно въ политическомъ развитіи Австро-Венгріи, совершенно не разрѣшаетъ той соціологической проблемы, которая стоитъ передъ нами. Государство не можетъ, не должно, не обязано обезпечить каждой отдѣльной національности возможность развитія; государство только обязано и въ состояніи устранить съ пути каждой націи тѣ препятствія къ ея развитію, которыя вытекаютъ изъ угнетенія государственнымъ аппаратомъ. Если же поставить интересующій насъ вопросъ не на его юридическую, а на соціологическую почву, то для насъ должна будетъ обнаружиться полная несостоятельность той національной теоріи, которая зиждится исключительно на принципѣ персональной автономіи.

Что собственно, представляетъ собой соціальная жизнь? Если бы мы захотѣли свести всѣ тѣ силы, которыя дѣйствуютъ въ соціальной жизни и образуютъ ее, къ единому знаменателю, то мы должны будемъ прійти къ заключенію, что характеръ всякой жизни есть

результатъ общественнаго компромисса, безпрерывно проявляющагося въ повседневной жизни организованнаго населенія въ процессѣ взаимнаго подражанія. Не могло бы быть на свѣтѣ ни одного болѣе или менѣе нормально организованнаго общества безъ такого взаимнаго компромисса, безъ того, чтобы каждый индивидуумъ не отказался отъ извѣстныхъ чертъ своего *я*, безъ того, чтобы онъ не подражалъ цѣлому ряду другихъ индивидовъ въ предѣлахъ того общества, въ которомъ онъ живетъ.

Этотъ компромиссъ, конечно происходитъ не по взаимному сознательному уговору, а въ силу безсознательнаго инстинктивнаго стремленія людей къ совмѣстной соціальной жизни, въ которомъ и коренятся причины постояннаго, большей частью, несознаваемаго взаимнаго подражанія. Этотъ-то всеохватывающій инстинктъ взаимоподражанія обязательно долженъ втянуть въ себя и то меньшинство, которое вкраплено въ среду національнаго большинства. Этотъ водоворотъ отдѣльныхъ свойствъ и качествъ, симпатій и антипатій, вкусовъ и наклонностей, отталкиваній и притяженій, составляющихъ тѣ электрическіе токи, которые вибрируютъ среди людей, живущихъ на одной и той же территоріи, разъединяя и вновь объединяя ихъ, разрѣшаясь въ установленіи извѣстной гармоніи и равнодѣйствующей, — этотъ именно водоворотъ, являющійся процессомъ безпрерывно новаго созданія соціальной жизни, въ которомъ участвуетъ большинство членовъ организованнаго общества — обязательно долженъ втянуть въ себя и то національное меньшинство, которое вкраплено въ организмъ территоріальнаго большинства. Національное меньшинство, живущее на чужбинѣ, участвуетъ въ сравнительно ничтожной степени въ этомъ соціальномъ компромиссѣ лишь въ томъ случаѣ, если оно обречено на изолированную, порабощенную жизнь, если оно лишено элементарныхъ человѣческихъ правъ, если для него закрытъ цѣлый рядъ отраслей труда и хозяйственной дѣятельности. Національное же меньшинство, не изолированное отъ большинства искуственными правовыми преградами и имѣющее фактическую возможность участвовать въ строительствѣ жизни всего общества, живущаго на опредѣленной территоріи, обязательно должно стать участникомъ упомянутаго процесса взаимоподражанія. Участвуя въ этомъ постоянномъ, изо дня въ день повторяющемся, взаимномъ компромиссѣ, національное меньшинство, само собою понятно, привноситъ въ этотъ процессъ соціальной жизни элементы своей индивидуальности, но эти послѣдніе, хотя бы уже въ силу ихъ количественной незначительности,

обречены на стихійное подавленіе тѣми количественно многочисленными элементами, которые привносятся территоріальнымъ большинствомъ.

Тардъ правъ, когда онъ разсматриваетъ соціальнаго человѣка, какъ сомнамбулу, какъ существо, поддающееся неотвратимому гипнозу со стороны большинства его окружающихъ. Внѣ этой гипнотической силы, которая живетъ въ насъ и вокругъ насъ, которой насыщена вся атмосфера соціальной жизни, было бы не мыслимо созданіе какого бы то ни было человѣческаго общества, и этотъ взаимный гипнотизмъ, который образуетъ ежедневно соціальную жизнь, обязательно долженъ вести къ обезличиванію того національнаго *я*, носителемъ котораго является территоріальное меньшинство. Чѣмъ значительнѣе большинство, и чѣмъ незначительнѣе меньшинство, тѣмъ болѣе послѣднее подвержено ассимиляціи, ибо тѣмъ болѣе гипнотизирующихъ моментовъ вытекаетъ изъ жизни большинства и тѣмъ глубже, съ другой стороны, эти моменты развиваютъ въ національномъ меньшинствѣ способность и готовность подчиняться гипнотизирующимъ силамъ большинства.

Въ своей борьбѣ противъ ассимилирующаго вліянія большинства національное меньшинство часто пытается черпать силы изъ фонда гипнотическихъ вліяній своего прошлаго. У каждаго народа имѣются опредѣленныя залежи гипнотическихъ вліяній прошлаго, вѣковыя залежи, заключающіяся въ его языкѣ, въ его быту, въ его культурѣ, преданіяхъ и воспоминаніяхъ. Значительная часть этихъ залежей хранится также въ фондѣ инстинктовъ, «въ крови», въ цѣломъ рядѣ чисто біологическихъ особенностей, консервирующихъ въ себѣ психическіе элементы. Эти силы прошлаго народъ дѣйствительно можетъ противопоставлять гипнозу, исходящему изъ недръ большинства. И само собой понятно, что чѣмъ богаче этотъ фондъ гипнотическихъ вліяній прошлаго у какого-нибудь народа, чѣмъ большій историческій путь этотъ народъ продѣлалъ, чѣмъ жизненнѣй и богаче запасъ его воспоминаній, тѣмъ легче ему сопротивляться гипнотизирующему вліянію большинства, тѣмъ онъ медленнѣе поддается денаціонализаціи и обезличиванію. Въ конечномъ же счетѣ, гипнотическія вліянія, притекающія изъ непосредственной жизни большинства, съ которымъ меньшинство приходитъ въ каждодневное соприкосновеніе, должно парализовать силу того фонда гипнотическихъ вліяній, которыя питаются, главнымъ образомъ, наслѣдствомъ прошлаго и которыя меньшинство противопоставляетъ большинству. Какъ бы богато ни было прошлое націо-

нальнаго меньшинства, какую бы силу сопротивленія это прошлое ни давало ему, оно имѣетъ лишь возможность оттянуть на болѣе или менѣе продолжительный періодъ времени процессъ своей денаціонализаціи, но въ концѣ концовъ этотъ наслѣдственный фондъ никогда не въ состояніи сравняться по своей силѣ съ тѣми живыми бьющими фонтаномъ гипнотизирующими силами, ежедневно подвергающими своему воздѣйствію національное меньшинство, находящееся въ непосредственномъ физическомъ, матеріальномъ, духовномъ, вокальномъ и оптическомъ соприкосновеніи съ территоріальнымъ большинствомъ. Національный обликъ меньшинства долженъ поэтому все болѣе и болѣе стираться, по мѣрѣ того, какъ расширяется его участіе во всѣхъ областяхъ соціальной жизни, характеръ и тонъ которой предопредѣляются и диктуются большинствомъ населенія. Вмѣсто нормальнаго разряженія національныхъ творческихъ потенцій неизбѣжно получается ихъ заглушеніе, подавленіе и постепенное атрофированіе

Для того, чтобы можно было сказать о какомъ-нибудь народѣ, что онъ дѣйствительно исчерпываетъ все то, что заложено въ его національное *я*, надо дать этому народу возможность свободно проявить свое своеобразіе въ самостоятельномъ разрѣшеніи всѣхъ тѣхъ жизненныхъ проблемъ, какія только существуютъ у человѣчества. Но если равноправное національное меньшинство участвуетъ въ разрѣшеніи этихъ жизненныхъ проблемъ въ тѣсномъ сотрудничествѣ съ территоріальнымъ большинствомъ, то о такой самостоятельности не можетъ быть рѣчи, ибо вкусы и стиль большинства въ самомъ расширенномъ смыслѣ этихъ словъ, его критеріи прекраснаго и непрекраснаго, удовольствія и неудовольствія, справедливости и несправедливости, властно диктуютъ свою соціологически неустранимую гегемонію во всемъ строительствѣ жизни, гегемонію неизбѣжно подавляющую волю, вкусы, наклонности и стиль національнаго меньшинства.

Когда мы говоримъ о подражаніи, то это слово большей частью ассоціируется у насъ съ извѣстнымъ стремленіемъ или готовностью считать себя ниже всѣхъ другихъ; мы видимъ въ подражаніи рабство и обезьяничанье. Такой односторонній взглядъ на характеръ и источники подражанія не выдерживаетъ никакой критики, ибо подражаніе очень часто является ничѣмъ инымъ, какъ стремленіемъ къ гармоніи, къ установленію гармоническихъ соотношеній между отдѣльными особями и отдѣльными группами, составляющими человѣческое общество, сосредоточенное на опредѣленной территоріи.

Въ силу этого естественнаго и здороваго стремленія къ гармоніи, къ возможному уменьшенію количества психологическихъ треній и диссонансовъ въ жизни общества, мы постоянно сознательно и безсознательно, замѣчаемъ ли мы это или не замѣчаемъ, хотимъ ли мы этого или не хотимъ — вовлекаемся въ процессъ подражанія. Въ этомъ процессѣ каждый изъ насъ является и субъектомъ и объектомъ подражанія; въ одно и то же время каждый изъ насъ является и гипнотизеромъ, и медіумомъ. Въ силу неискоренимаго изъ человѣческой натуры стремленія къ установленію гармоническаго начала въ соціальной жизни національное меньшинство вынуждается къ специфическому подражанію территоріальному большинству въ области дѣйствія, мысли и чувства, творчества, и формъ его проявленія.

Обычно принято думать, что подражаетъ только слабый сильному, порабощенный поработителю, но мы совершенно забываемъ, что въ силу того же неискоренимаго человѣческаго стремленія къ гармоніи, очень часто подражаетъ и угнетатель угнетаемому, господинъ своимъ рабамъ, національное меньшинство, которое приходитъ въ чужую территорію въ качествѣ порабощающаго элемента — угнетенному національному большинству. Франки въ Галліи быстро латинизировались, несмотря на то, что они были побѣдителями; они быстро переняли и римскій языкъ, и римскіе обычаи, и всю римскую культуру. То же самое случилось и съ норманами, которые явились въ Англію въ качествѣ побѣдителей; то же случилось и съ варягами, отчасти и съ татарами, которые пришли въ Россію властными побѣдителями. Гипнотизирующая и ассимилирующая сила, естественно, оказалась тутъ на сторонѣ большинства, растворившаго въ себѣ господствующее національное меньшинство. Въ стремленіи къ гармонизаціи жизни погибло національное своеобразіе того элемента, который, въ силу своей малочисленности, долженъ былъ болѣе всего приспособляться къ общей соціальной равнодѣйствующей.

Влеченіе людей ходить нога въ ногу, одной и той же походкой, констатировалось гораздо раньше, чѣмъ это было принудительно введено въ современныхъ европейскихъ арміяхъ. Въ этомъ отношеніи, можетъ быть, стоило бы вспомнить рядъ любопытныхъ измѣреній, произведенныхъ представителями французской психологической школы и показавшихъ, что люди, живущіе въ одномъ и томъ же городѣ продолжительное время, имѣютъ приблизительно одну и ту же походку, одну и ту же среднюю скорость ходьбы, хотя нѣтъ никакой внѣшней власти, которая вынуждала бы ихъ къ такому

взаимоприспособленію. Тутъ опять проявляется та же сила, о которой мы говорили раньше — стремленіе къ ритмичности и гармоніи, которое сознательно, безсознательно и подсознательно выливается въ подражаніи. И само собою понятно, что тамъ, гдѣ происходитъ взаимное подражаніе, скорѣе всего и легче всего обезличивается тотъ соціальный элементъ, члены котораго, въ силу ихъ малочисленности, являются, если можно такъ выразиться, въ гораздо большей степени «медіумами», чѣмъ «гипнотизерами».

Нѣкоторые психологи пытались установить опредѣленныя различія между логикой различныхъ народовъ; они стремились доказать, что у каждаго народа имѣются свои методы логическаго мышленія. Если даже не присоединиться къ такимъ крайнимъ выводамъ, какіе сдѣлалъ въ этомъ отношеніи Густавъ Лебонъ, утверждавшій, напримѣръ, что англичане мыслятъ дедуктивно, а французы индуктивно, то все же мы не можемъ отрицать, что хотя и существуетъ одна только, общая для всего человѣчества, логика съ ея универсальными законами, никто изъ насъ не мыслитъ по всей строгости и точности этихъ законовъ, и каждый изъ насъ обнаруживаетъ извѣстныя отклоненія отъ теоретически обязательныхъ логическихъ нормъ. Въ этихъ отклоненіяхъ имѣется неисчислимое множество разнообразнѣшихъ оттѣнковъ и ньюансовъ, которыми отличаются другъ отъ друга не только отдѣльные индивиды, но также и такія коллективныя индивидуальности, какими являются національности. Совмѣстное же пребываніе двухъ національностей на одной и той же территоріи, заставляющее ихъ приходить ежедневно въ непосредственное взаимное соприкосновеніе и совмѣстно разрѣшать всѣ соціальныя проблемы, заставляетъ ихъ также стать другъ другу возможно болѣе понятными, свести къ возможному минимуму количество понятій и способовъ ихъ выраженія являющихся достояніемъ лишь тѣсныхъ, интимныхъ круговъ.

Необходимость же устанавливать возможно болѣе однообразные методы логическаго мышленія, выраженія мысли и чувствъ заставляетъ всегда національное меньшинство приспособляться къ логическому укладу и логическимъ отклоненіямъ, характеризующимъ національное большинство, пока, съ теченіемъ времени, національное меньшинство лишается своихъ своеобразныхъ ходовъ, путей и методовъ логическаго мышленія. Національное меньшинство безсильно сохранить это своеобразіе, этотъ значительный элементъ своей индивидуальности, въ процессѣ соціально вынужденнаго приспособленія. Эта же потребность во взаимномъ пониманіи для всѣхъ

людей, входящихъ въ составъ нормально организованнаго общества, ведетъ національное меньшинство и на другіе пути приспособленія и денаціонализаціи.

Въ интересахъ взаимнаго пониманія и соціальнаго сотрудничества національное меньшинство вынуждено изучать языкъ окружающаго большинства, причемъ большинство обычно пользуется своимъ правомъ не знать языка вкрапленнаго въ него меньшинства. Массовое усвоеніе языка окружающаго большинства — явленіе абсолютно неизбѣжное въ прогрессивномъ обществѣ, въ которомъ меньшинство привлекается къ тѣсному сотрудничеству съ большинствомъ населенія во всѣхъ областяхъ соціальной жизни — дѣлаетъ меньшинство особенно воспріимчивымъ къ ассимилирующимъ вліяніямъ.

Внутренная жизнь большинства, естественно влекущая представителей національнаго меньшинства (ибо оно чувствуютъ, что въ ней именно ткутся тѣ нити, изъ которыхъ сплетается сложная сѣть соціальной жизни всей страны), широко раскрывается для меньшинства, усвоившаго чужой языкъ, и постепенно углубляется въ немъ стремленіе къ внѣдренію въ эту жизнь и сліянію съ ней.

Для народа, живущаго на своей территоріи, образующаго на ней большинство населенія, не составляетъ опасности внѣдреніе въ той или иной мѣрѣ во внутреннюю жизнь какого-либо другого народа, ибо онъ апперцепируетъ все заимствуемое имъ отъ чужой культуры; приспособляясь къ тѣмъ или инымъ изъ ея элементовъ, онъ одновременно и приспособляетъ ихъ къ себѣ, переплавляя ихъ въ своемъ горнилѣ, амальгамируя ихъ со всѣмъ своимъ духовнымъ достояніемъ. Для народа же, живущаго на чужбинѣ въ меньшинствѣ, со стороны чужой культуры существуетъ реальная опасность, ибо онъ находится въ тѣсномъ общеніи съ живыми носителями этой культуры, и вмѣстѣ съ ея существенными элементами онъ постепенно усваиваетъ отъ непосредственныхъ объектовъ подражанія и способы воспріятія этихъ элементовъ, теряя, такимъ образомъ, то, что есть наиболѣе цѣннаго и жизненнаго въ природѣ національности — собственное, индивидуальное *міроощущеніе*.

Мы отыскиваемъ элементы національно-еврейскаго въ творчествѣ ассимилированныхъ евреевъ; мы радуемся, когда мы чуемъ въ произведеніяхъ Гейне и Берне отзвуки еврейскихъ вліяній; намъ лестно, когда кто-нибудь открываетъ намъ въ произведеніяхъ Антокольскаго далекія отраженія пророческихъ идеаловъ, въ Марксѣ и Лассалѣ — преломленія мессіанскихъ вожделѣній древняго еврейства, а въ Левитанѣ — отблески «типичной еврейской скорби».

Мы видимъ въ этомъ утѣшающее доказательство неискоренимости и неувядаемости нашего національнаго «*я*». Но мы при этомъ забываемъ о томъ, что въ нашей національной культурѣ, которая творится во имя національнаго еврейства, уже проявляютъ свое дѣйствіе денаціонализирующіе, психически ассимилирующіе элементы. Мы, большей частью, совершенно не замѣчаемъ, что, напримѣръ, въ современной художественной еврейской литературѣ преобладаетъ уже средне-русскій пейзажъ, знакомый намъ по Тургеневу, Горькому, Чехову и Бунину, въ тѣхъ же почти формахъ воспріятія, въ какихъ мы его встрѣчаемъ у нихъ. Безсознательно сохраняя въ своей сознательной ассимиляціи извѣстныя черты нашего національнаго *я*, мы оставаясь въ еврействѣ, во имя еврейства, сами не замѣчая, въ то же время, теряемъ элементы нашей національной индивидуальности, все болѣе и болѣе подчиняя свое міровоспріятіе міровоспріятію тѣхъ, что «наполняютъ собою землю» и насыщаютъ собою, своимъ духомъ, вліяніями и излученіями всю атмосферу жизни, которой мы дышемъ и не можемъ не дышать вмѣстѣ съ ними. Всякая страна есть своего рода «сосудъ», въ который вливается опредѣленное содержаніе національнаго духа, проникающаго собою всю жизнь страны и овеществляющаго себя въ ней. Стремленіе же національнаго меньшинства вселять свой духъ въ уже заполненный «сосудъ» наталкивается на ревнивое сопротивленіе, благодаря которому оно все болѣе ослабѣваетъ, становится рыхлѣе, податливѣе и худосочнѣе. И какъ бы ни было сильно такое стремленіе въ отдѣльные моменты своего проявленія, оно всегда слабѣе того закона гармоніи, которому соціальная жизнь не можетъ не подчиняться.

Въ жизни каждаго національнаго меньшинства, въ силу всего вышесказаннаго, дѣйствуютъ двѣ различныя, противоположныя силы: сила центробѣжная и сила центростремительная. Потребность въ гармонизаціи жизни заставляетъ, съ одной стороны, національное меньшинство стремиться къ сліянію съ окружающимъ большинствомъ; съ другой стороны, фондъ инстинктовъ и историческихъ накопленій, продолжающій питать его волю къ существованію, заставляетъ его сознательно отмежевываться отъ большинства, обособляться отъ него, воздвигать спеціальныя преграды и плотины, которыя не давали бы національному большинству окончательно поглотить его. Отблески собственнаго національнаго бытія ведутъ то открытую, то скрытую борьбу съ яркимъ свѣтомъ чужого, но подлинно жизненнаго, полновѣснаго національнаго бытія; прошлое борется съ настоящимъ и таящимися въ немъ зачатіями будущаго;

мертвые предки какъ бы состязаются съ чужими, но физически близкими, живыми современниками. И въ борьбѣ между такими двумя объективно неравными, но упорно неуступчивыми силами, изъ которыхъ каждая избираетъ себѣ опредѣленный періодъ въ исторической жизни народа, которыя иногда дѣйствуютъ и одновременно, въ одну и ту же эпоху, проявляясь въ ослабляющихъ другъ друга тенденціяхъ и тяготѣніяхъ различныхъ элементовъ народа — въ этой борьбѣ между двумя взаимоисключающими началами протекаетъ внутренняя жизнь національнаго меньшинства. Влекомая двумя магнитами, вѣчно раздираемая не только разстояніемъ между стремленіемъ и его осуществленіемъ, но и глубокими противорѣчіями въ самихъ своихъ стремленіяхъ и непримиримыхъ другъ съ другомъ тяготѣніяхъ, эта жизнь лишена той устойчивости и того внутренняго равновѣсія, которые такъ важны для нормальныхъ культурныхъ накопленій, для роста и развитія большихъ соціальныхъ массъ. Національное чувство миноритарной націи тяготѣетъ то къ атрофіи, то къ гипертрофіи. Въ томъ и въ другомъ случаѣ это связано съ большой напряженностью воли, сознанія, вниманія, — съ затратой интеллектуальной и эмоціональной энергіи не на непосредственное, положительное творчество, а на цѣлый рядъ *актовъ преодолѣнія*, — то на преодолѣніе ассимилирующихъ вліяній, то на преодолѣніе воли къ утвержденію собственнаго *я*. Наиболѣе цѣнныя въ творческомъ отношеніи области безсознательнаго и подсознательнаго обречены при этомъ на систематическое оскудѣваніе за счетъ все болѣе изощряющагося черствaго сознанія, иссушивающаго своимъ дыханіемъ лучшіе соки творческаго воображенія. Какъ анэстезія національнаго чувства, такъ и его гиперэстезія, — какъ одинъ, такъ и другой изъ тѣхъ двухъ полярныхъ процессовъ, къ которымъ тяготѣетъ жизнь миноритарной націи, не проходятъ для послѣдней безнаказанно. Благодаря постоянному контролю бдительнаго сознанія, приходящаго на помощь и охранительному, консервирующему націонализму, и ассимиляціонному процессу внѣдренія въ чужую національную жизнь, элементы «безотчетнаго» все болѣе исчезаютъ изъ жизни національнаго меньшинства, и послѣднее становится все менѣе и менѣе «наивнымъ» и «искреннимъ», все менѣе оригинальнымъ, все менѣе творческимъ. Надъ будущностью національныхъ меньшинствъ рѣетъ неотвратимый рокъ исторіи: какъ бы ни была сильна власть тѣхъ «мертвыхъ», которые повелѣваютъ своимъ потомкамъ продолжать въ себѣ ихъ жизнь, власть живыхъ должна раньше или позже взять то, что принадлежитъ ей по ея

естественному, неотъемлемому праву. Чело миноритарной націи «отмѣчено перстомъ», ея жизнь есть долгое угасаніе, которое не можетъ не закончиться тѣмъ, чѣмъ кончается всякое угасаніе въ нашемъ мірѣ. Въ этой національной агоніи могутъ, конечно, по временамъ вспыхивать отдѣльные яркіе огоньки; лихорадочное цѣпляньe за ускользающую жизнь можетъ порою озарить глаза обреченной націи особымъ, имѣющимъ свою неоспоримую прелесть, обманчиво-обѣщающимъ блескомъ. Но какъ бы ярки ни были отдѣльными моментами такія багряныя озаренія національной жизни, они способны лишь отдалить часъ кончины, но отнюдь не пердотвратить его. Такова неминуемая участь всякой миноритарной націи, какъ бы благопріятны ни были общесоціальныя условія ея существованія и какими бы широкими персонально-автономными правами она ни была надѣлена: соціологическія неизбѣжности всегда сильнѣе самыхъ широкихъ правовыхъ возможностей...

## IV

При свѣтѣ всего вышесказаннаго становится понятнымъ, почему сіонизмъ возникъ лишь въ наше время, а не въ средневѣковомъ гетто и не въ доэмансипаціонную эпоху нашей новой исторіи, которая вся еще была проникнута духомъ гетто.

Гетто не могло родить сіонистскаго движенія, ибо самымъ фактомъ своего существованія оно заслоняло наиболѣе существенныя стороны голуса. Для кристаллизаціи всякаго общественнаго идеала требуется возможно большее обнаженіе отрицательныхъ сторонъ того «сущаго», которому идеалъ противопоставляетъ свое «должное». Для кристаллизаціи сіонистскаго идеала необходимо было обнаженіе голуса, межъ тѣмъ, какъ гетто заволакивало голусъ и какъ бы скрадывало своими таинственными покрывалами его наиболѣе уродливыя черты. Еврейство гетто, при всей своей приниженности, чувствовало себя въ извѣстномъ смыслѣ самостоятельной націей. Гетто было суррогатомъ территоріи, можно даже сказать, суррогатомъ еврейской государственности, и у его обитателей, не входившихъ почти ни въ какое соприкосновеніе съ окружающимъ нееврейскимъ міромъ, должно было создаться иллюзорное представленіе о своей національной самостоятельности. Религія, на почвѣ которой былъ вычеканенъ еврейскій бытъ и весь жизненный укладъ гетто, была чѣмъ-то большимъ, чѣмъ религія, если подъ послѣдней пони-

мать только извѣстную сумму догматовъ и символизирующихъ ихъ обрядовъ. Еврейская религія въ средневѣковомъ гетто, регламентировавшая почти всѣ стороны и области внутренней національной жизни, была основой цѣлостной, національной стихіи; пользуясь своимъ исключительнымъ авторитетомъ и диктуя формы осуществленія еврейскаго соціальнаго и индивидуальнаго блага, она фактически такъ же отграничивала еврейство, какъ это дѣлаетъ по отношенію къ другимъ народамъ территорія или государство. Благодаря ей, еврейство было внутренне объединено не только и не столько общимъ міросозерцаніемъ, сколько общимъ мироощущеніемъ, общими формами воспріятія всего окружающаго міра. При такомъ положеніи вещей у еврейства гетто не могло быть той жажды національнаго освобожденія, которая могла возникнуть лишь впослѣдствіи, когда стали открываться грозныя для національнаго существованія пропасти голуса. Ибо гетто дѣйствительно было въ извѣстныхъ отношеніяхъ, какъ остроумно выразился одинъ западный еврейскій писатель, чѣмъ-то вродѣ отдѣльнаго государства, находившагося, въ «вассальныхъ» отношеніяхъ къ окружающимъ народамъ и государствамъ. Между евреями и нееврейскимъ населеніемъ существовали извѣстныя отношенія на почвѣ своеобразной координаціи въ разрѣшеніи ряда хозяйственныхъ задачъ, но эти отношенія по своему характеру приближались къ тому, что у насъ принято называть «международными отношеніями». Живя исключительно въ своей средѣ, говоря преимущественно, если не на своемъ, то, большей частью, на языкѣ, отличномъ отъ языка окружающаго населенія, рѣзко выдѣляясь своимъ собственнымъ бытомъ, своимъ укладомъ жизни, имѣя своихъ раввиновъ и даяновъ, которые были не только духовниками, но и исполнителями гражданскихъ и даже судейскихъ функцій, еврейство, лишенное, въ силу своего правового и общесоціальнаго положенія, точекъ соприкосновенія съ культурой и жизнестроительствомъ окружавшихъ его народовъ, предоставленное въ сферѣ подражанія почти исключительно своему собственному соціальному кругу, — должно было чувствовать себя за затворами гетто совершенно обособленнымъ, изолированнымъ, а потому и забронированнымъ отъ внѣшнихъ разрушительныхъ вліяній соціальнымъ организмомъ. Гетто, въ качествѣ «духовной территоріи», ограждало еврейство отъ опасности національнаго обезличенія; вызванное инстинктомъ самосохраненія, оно впослѣдствіи убаюкало волевое, творческое начало въ еврействѣ, успокоило его національную боль, утѣшило его суррогатомъ и тѣмъ самымъ па-

рализовало въ немъ тѣ духовно-революціонныя силы, которыя единственно могли создать движеніе, аналогичное сіонизму.

Мы погрѣшили бы противъ истины, еслибъ мы тутъ же не указали на другой крупный факторъ, содѣйствовавшій сохраненію еврейской національной индивидуальности въ гетто, оберегавшій народъ отъ ассимиляціи и тѣмъ самымъ долгими столѣтіями тормозившій развитіе активнаго національно-освободительнаго движенія. Мы имѣемъ въ виду то стоическое начало, которое, проявляясь въ міровой исторіи въ своихъ неисчислимо разнообразныхъ формахъ, всегда стискивало творческія силы и пресѣкало исканія отдѣльныхъ личностей и большихъ соціальныхъ массъ. Отреченіе отъ «мірской суеты» было и въ еврействѣ гетто однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ утвержденія національнаго «*я*». Съ самаго начала своего возникновенія гетто зиждилось на началѣ индивидуальнаго и соціальнаго аскетизма.

Въ немъ было запрещено все то, что хотя бы самымъ отдаленнымъ образомъ могло бы угрожать еврейству затушевываніемъ его національнаго облика. Личныя влеченія и исканія, любознательность и простое любопытство, все то, что можетъ ласкать зрѣніе и радовать слухъ, все то, что способно расширять плоскость человѣческой дѣятельности и творчества, обогащать личность новыми элементами и выводить ее на болѣе свободную дорогу борьбы и достиженій — все это приносилось въ гетто въ жертву единому закону, которымъ оно жило, закону національнаго самосохраненія и самоконсервированія. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно типичнымъ слѣдуетъ признать шекспировскаго Шейлока. Когда на жизнерадостной венеціанской улицѣ раздаются звуки музыки, Шейлокъ, знающій, что въ это время христіанская молодежь собирается на свои пиршества, преисполненныя упоительнаго духа итальянскаго «возрожденія», обращается къ Джессикѣ со слѣдующими характерными словами: «Закрой всѣ двери ты и окна, чтобъ гнусный голосъ христіанъ въ мое жилище не врывался». Въ глубокихъ тайникахъ своей души Шейлокъ знаетъ, что въ томъ мірѣ, который широко разстилается за воротами гетто, есть много богатаго, красочнаго, сочнаго и манящаго. Но онъ знаетъ также и то, что для еврейства этотъ міръ пропитанъ ядомъ, и во имя идеи сохраненія своего народа онъ приноситъ въ жертву свои затаенныя вожделѣнія, свои желанія и страсти, и готовъ принести въ жертву молодость самаго дорогого ему существа, его собственной дочери. Автономизированіе еврейской жизни мыслимо лишь на основѣ отреченія и аскетическаго

самоограниченія, на основѣ коллективнаго самозамыканія и подавленія своей личности — такова «нутряная» логика и философія гетто. Инстинктъ самосохраненія подсказалъ народу, что нормальная жизнь или хотя бы одно стремленіе къ таковой гибельны для его существованія, что въ свободѣ индивидуальнаго мышленія и развитія таится угроза національной цѣльности, зиждящейся на общеобязательныхъ для всего народа духовныхъ цѣнностяхъ и оцѣнкахъ, и, въ силу этого инстинкта, онъ какъ бы намѣренно анормализировалъ свою жизнь и заключилъ еврейскую личность въ тяжелыя духовныя оковы. Не слѣдуетъ также упускать изъ виду, что ни христіане, ни мусульмане (не говоря уже о язычникахъ) не были для средневѣковаго еврейства равноправными и равноцѣнными ему существами въ религіозно-этическомъ отношеніи. При всей силѣ и мощи владычествовавшаго нееврейскаго міра, при всей правовой и соціальной порабощенности еврейства, средневѣковый еврей разсматривалъ себя, какъ существо, стоящее неизмѣримо выше самаго высокаго и доблестнаго представителя христіанскаго или мусульманскаго общества. Проникнутое сознаніемъ своего избранничества, сознаніемъ своей исключительной религіозно-этической высоты, своей болѣе тѣсной, сыновней близости къ Богу, порабощенное еврейство гетто обладало какой-то особой, глубоко коренившейся гордостью и разсматривало себя какъ высшую, аристократическую расу, какъ истинную знать человѣческаго рода — знать гонимую и пока еще народами не признаваемую, но зато давно уже признанную Провидѣніемъ, ведущимъ свой народъ по тернистымъ путямъ къ высотамъ славы и величія. Для толщи средневѣковаго еврейства вплоть до кануновъ эмансипаціонной эпохи ассимиляція должна была казаться самонизведеніемъ въ низшій рангъ, осквернеіемъ фамильнаго герба; Гейневскую символическую собаку, снова превращающуюся на субботній день въ принца, слѣдуетъ — въ примѣненіи къ занимающему насъ моменту — толковать въ томъ лишь смыслѣ, что всю недѣлю она *казалась* собакой, межъ тѣмъ какъ субъективно она и въ будни сознавала свое высокое происхожденіе.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что гетто далеко не было *чужбиной* въ томъ специфическомъ смыслѣ этого слова, въ которомъ мы его теперь употребляемъ. Чужбиной мы называемъ страну, въ которой мы живемъ среди окружающаго чуждаго большинства, непосредственно соприкасаясь съ этимъ большинствомъ въ процессѣ соціальнаго строительства, вращаясь въ его кругу, сознавая и ощущая при этомъ какъ его, такъ и нашу собственную національную само-

бытность и вытекающіе отсюда соціальные диссонансы. Гетто же, не знавшее такого тѣснаго общенія съ окружающимъ міромъ, было поэтому не чужбиной, а еврейскимъ островомъ среди моря «нееврейскаго», своеобразнымъ еврейскимъ «оазисомъ» въ «пустынѣ» «umoth haôlam». Бяликъ своимъ тонкимъ художественнымъ чутьемъ проникновеннѣе, чѣмъ кто-либо другой, постигъ этотъ моментъ. Въ его «Свиткѣ о пламени» еврейскіе отроки и дѣвушки, уведенные врагомъ изъ Іудеи, блуждаютъ не по «чужой землѣ», а по «чахлому и отвѣка проклятому плѣшью *острову*». Лишь послѣ того, какъ свѣтлоокій отрокъ ринулся съ вершины въ раскрытыя объятія пучины рѣки Аввадона, воды вынесли его «въ край далекій, незнакомый, въ край, чье имя — *Чужбина*». Лишь тогда для него раскрываются трагическія очертанія дѣйствительно чуждой земли, въ которой онъ обреченъ или на жуткое одиночество, или на преодолѣніе своего одиночества внѣдреніемъ въ глубины чужой почвы.

На томъ островномъ «оазисѣ», который представляло собою гетто, еврейство чувствовало себя духовнымъ властелиномъ, и если оно не продолжало тамъ ковать свою дальнѣйшую судьбу и творить новыя цѣнности, то оно все же умѣло стойко оберегать принесенное туда наслѣдіе и бережно охранять каждую черточку, запечатлѣнную исторіей въ душѣ народа.

Еврейство гетто, въ силу вышеуказанныхъ условій, не подвергалось въ болѣе или менѣе ощутительной степени воздѣйствію тѣхъ соціологическихъ законовъ, которымъ подвергается жизнь миноритарной націи. Въ его жизни не могло поэтому быть мѣста для нарожденія въ той или иной формѣ дѣйственнаго сіонизма.

## V

Аскетизмъ гетто долженъ былъ, естественно, чѣмъ нибудь смягчаться. Неискоренимое изъ человѣческой натуры стремленіе къ возможно болѣе свободной, дѣйственной и многообразной жизни должно было найти себѣ и въ еврействѣ какой-нибудь исходъ. Еврейство, жившее въ продолженіе многихъ столѣтій только итогами своей былой творческой жизни, должно было дать себѣ отвѣтъ относительно судьбы тѣхъ жизненныхъ потенцій, которыя оно систематически заглушало въ себѣ, но которыя, удалившись въ подполье душевной жизни, все же ждали въ полудремотномъ состояніи возможности для своего разряженія. И еврейство, дѣйствительно, да-

вало себѣ отвѣтъ: оно мысленно переносило разряженіе своихъ потенцій въ дали грядущаго. За свое самоограниченіе, самозамыканіе, индивидуальный и соціальный аскетизмъ оно компенсировало себя своей вѣрой въ мессіанскія времена, которыя примирятъ всѣ противорѣчія жизни, разрѣшатъ всѣ мучительные вопросы, дадутъ просторъ закрѣпощеннымъ силамъ, отмѣнятъ запреты, и сорвутъ оковы какъ со всего народа, такъ и съ отдѣльной еврейской личности.

Безъ этой глубокой вѣры въ грядущаго Мессію была бы немыслима та многовѣковая аскетическая жизнь, на которую еврейство добровольно обрекло себя. Съ образомъ Мессіи у еврейства связывалась легализація тѣхъ чувствъ, переживаній, дѣйствій и поступковъ, надъ которыми тяготѣло ярмо запрета. Элементъ возстанія и бунта противъ самихъ себя во имя освобожденія своего человѣческаго и національнаго *я* какъ бы смягчался и уступчиво таялъ подъ ласкающими лучами этой таинственной вѣры въ обѣтованное избавленіе.

Но какъ всегда бываетъ съ чувствами, загоняемыми въ подполье, послѣднія должны были и тутъ отъ времени до времени вспыхивать яркимъ пламенемъ протеста противъ ихъ порабощенія. Въ жизни гетто должны были наступать такіе критическіе моменты, когда накоплявшееся изо дня въ день глухое недовольство своей судьбою не могло не находить себѣ активнаго, дѣйственнаго исхода. Затаенныя грезы и вожделѣнія должны были время отъ времени пробиваться на поверхность жизни дикими, безумными потоками. И дѣйствительно, застывшій въ дремотныхъ грезахъ кратеръ гетто зналъ свои изверженія — такими были тѣ многочисленныя *мессіанскія движенія,* которыя такъ часто нарушали мѣрное теченіе жизни въ застоявшемся гетто. Непримиримые элементы еврейства противопоставляли компромиссному началу, на коемъ покоилось гетто, свое революціонное слово и дѣйствіе. Провозглашая начало избавленія отъ голуса, эти элементы во главѣ со своими вождями — мессіями предвосхищали тѣ послѣдствія, къ которымъ должно привести осуществленіе мечты Израиля.

Разъ мы уже находимся на пути къ Сіону, то потеряли уже всякій смыслъ и всякую цѣнность всѣ тѣ преграды, которыми мы себя окружили во имя нашего самосохраненія — такова была внутренняя логика почти всѣхъ «лжемессіанскихъ» движеній, не признававшихъ, большей частью, всего того запретительнаго балласта, которымъ еврейство гетто обременило себя и въ которомъ «лжемессіи» видѣли олицетвореніе голуснаго аскетизма. Такъ какъ свя-

занное съ пришествіемъ Мессіи возрожденіе еврейства въ Палестинѣ ассоціировалось въ народномъ представленіи съ освобожденіемъ отъ духовныхъ оковъ, то вспыхивавшія надежды на близкое возвращеніе въ родную землю не могли не сопровождаться тѣмъ «разрушеніемъ плотинъ», которымъ характеризуются почти всѣ мессіанскія движенія. Не приходится тутъ удивляться и тому, что большинство этихъ движеній приводили къ отпаденію болѣе или менѣе значительной части охваченныхъ ими элементовъ отъ еврейства. Такъ какъ мессіанскія движенія вербовали своихъ адептовъ среди наиболѣе непримиримыхъ элементовъ народа, отличавшихся повышенной жаждой духовнаго освобожденія и нормализаціи жизни, то, послѣ обнаруживавшагося банкротства мистически — освободительнаго похода, евреямъ, уже отвѣдавшимъ ширь и богатства «мессіанскихъ временъ» чрезвычайно трудно было возвращаться къ разбитому корыту гетто. Въ томъ «или-или», которое лежало въ основѣ средневѣковаго мессіанства съ его крайними, эксцессивными переходами отъ утвержденія еврейства на началахъ національной реставраціи къ полному уходу отъ еврейства, таился уже инстинктивный прогнозъ будущихъ судебъ еврейства, которое ранѣе или позже будетъ поставлено передъ дилеммой окончательнаго исчезновенія или радикальнаго обновленія...

Вспышки мессіанскихъ движеній были грозными предвѣстниками будущаго разрушенія гетто. При всей своей спаянности гетто должно было медленно изживать себя и пасть отъ своего внутренняго разложенія. Всякое волевое напряженіе имѣетъ свои естественные предѣлы; на такіе предѣлы должно было ранѣе или позже натолкнуться и то аскетическое начало, которымъ жило еврейство гетто. За долгіе вѣка своего существованія гетто подготовило свое противорѣчіе, и фактически оно начало разлагаться еще задолго до того, какъ христіанскіе народы открыли настежь его ворота. Еще до эмансинаціи, положившей на Западѣ конецъ правовому гетто, въ его стѣнахъ стали прорубаться бреши. Ихъ прорубала отдѣльная еврейская личность, долгими столѣтіями томившаяся въ духовной неволѣ гетто, жаждавшая простора и свободы для своей мысли и чувства, для своей жизни, дѣятельности, борьбы и достиженій. Духовное мужество и рѣшимость Баруха Спинозы, душевное горѣніе Уріеля Акосты, трагическія смятенія непонятаго и до сихъ поръ еще неоцѣненнаго «раввина — картежника», Леона де-Модены — таковы рельефныя проявленія того глухого, на первыхъ порахъ еще подпочвеннаго, а затѣмъ открытаго и явственнаго броженія, кото-

рое происходило въ гетто еще до эмансинаціи. Эмансинація, явившаяся въ гетто со своимъ ослѣпительнымъ пожирающимъ свѣтомъ, нашла уже тамъ готовый рой мотыльковъ, тянувшихся своими крыльями къ заманчивому пламени. Она уже нашла тамъ готовую почву, ибо та жажда избавленія, которая не могла уже находить для себя утоленіе въ мессіанскихъ движеніяхъ, искала живой воды не только за вѣковыми стѣнами гетто, но и за предѣлами еврейства вообще. Эмансипація не *создала* ассимиляціи: она была лишь воспріемницей тѣхъ ассимиляціонныхъ тяготѣній, которыя зародились въ самомъ гетто, исчерпавшемъ свои внутреннія силы. Она дала лишь формулу и лозунгъ тому, что бурлило въ душѣ, но еще не имѣло названія. Еврейская личность увидѣла въ эмансинаціи и ассимиляціи возможность своего раскрѣпощенія, свой долгожданный «Tikun». Было бы теперь слишкомъ уже неумѣстной уступкой узкой партійной догмѣ и живущему въ насъ духу полемики и апологетики, если бы мы повторяли старое утвержденіе, что ассимиляціонное движеніе было проявленіемъ рабскихъ наклонностей со стороны трусливо-уступчивыхъ, позорно-оппортунистичныхъ элементовъ еврейства. Чѣмъ объективнѣе и безпристрастнѣе мы вчитываемся въ новѣйшую исторію еврейскаго народа, чѣмъ больше чуткости мы проявляемъ къ переживаніямъ послѣднихъ поколѣній еврейства, тѣмъ яснѣе намъ становится, что раннее, идейное ассимиляціонное движеніе было по своимъ внутреннимъ тенденціямъ истиннымъ духовно-освободительнымъ движеніемъ*.

Ассимиляція захватила далеко не худшіе элементы еврейства: въ орбитѣ ассимиляціоннаго движенія мы видимъ наиболѣе жизненное и яркое изъ того, чѣмъ еврейство располагало. И если мы въ своемъ ретроспективномъ изслѣдованіи ассимиляціоннаго движенія видимъ теперь столь много отрицательныхъ элементовъ искусственнаго приспособленія и подражанія, то не слѣдуетъ забывать, что приблизительно такого же рода процессы наблюдались и въ неоппортунистичныхъ, на всякій уже взглядъ, мессіанскихъ движеніяхъ. Разница между элементами, участвовавшими въ мессіанскихъ движеніяхъ и тѣми, что были охвачены ассимиляціонными вѣяніями, заключается въ томъ, что первые «подражали» воображаемому типу нормализованнаго еврея, межъ тѣмъ, какъ вторые подражали не-

---

* Новую оцѣнку ассимиляціоннаго движенія читатель найдетъ въ интересномъ сборникѣ статей С. Гурвича «Meaiin u Leaiin», изд. Ахисеферъ, Берлинъ 1914.

посредственно созерцаемому типу нормальнаго христіанина. Большая или меньшая доля столь несимпатичной намъ «искусственности» была какъ въ ассимиляціи, такъ и въ мессіанизмѣ. «Естественнымъ» оставалось только гетто, «естественными» были только тѣ консервативные элементы еврейства, которые создавали оппозицію и Саббатаю-Цеви, и Моисею Мендельсону, и звали къ примиренію съ голусомъ и гетто. Всякое радикальное обновленіе связано съ извѣстной ломкой, съ отказомъ отъ всего рутиннаго, съ разрушительными актами и насильственнымъ, принудительнымъ, принимающимъ зачастую форму искусственности и подражательности приближеніемъ своего «сущаго» *я* къ образу и подобію идеальнаго, «должнаго» *я*. Таковыми были мессіанскія движенія, таковымъ было и ассимиляціонное движеніе, въ которомъ лишь предубѣжденіе и суевѣрный историческій страхъ не даютъ многимъ увидѣть заключавшіеся въ немъ элементы своеобразнаго «мессіанизма»...

Ассимиляціонная идея не осуществилась. Помимо цѣлаго ряда другихъ, весьма сложныхъ соціально-историческихъ причинъ, неосуществленіе еврейской ассимиляціонной идеи объясняется еще и тѣмъ, что воля къ національному бытію оказалась въ еврействѣ гораздо болѣе глубокой, чѣмъ это представлялось апостоламъ національнаго самоубійства. Правда, тутъ сказалось также и сильное противодѣйствіе со стороны изоляціонныхъ тенденцій, коренившихся и теперь еще коренящихся въ жизни большинства европейскихъ народовъ — тенденцій, питаемыхъ и расовыми предразсудками, и религіознымъ моментомъ, и цѣлымъ рядомъ преходящихъ, но пока еще очень властныхъ хозяйственныхъ условій. Но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что упомянутое противодѣйствіе получало особую силу и неотразимо-поощряющіе толчки со стороны самого еврейства, въ которомъ ассимиляціонныя тяготѣнія наталкивались на непреодолимыя препятствія внутренняго, субъективнаго характера.

«Еврейство» коренилось уже въ такихъ органическихъ глубинахъ, что никакой ассимиляціонный паѳосъ не былъ въ состояніи изгнать, его вытравить его безъ остатка. Исторія искренней, идейной ассимиляціи можетъ быть разсматриваема какъ исторія исканій «сѣдалища» національнаго духа. Но эти исканія ни къ чему не привели: они остались такими же безрезультатными, какъ и исканія сѣдалища души въ философіи. Весь организмъ еврейскаго народа былъ уже настолько пропитанъ издревле коренившимся и столѣтіями лелѣянными въ немъ элементами національнаго, что никакія «операціи», какъ бы онѣ ни были смѣлы и рѣшительны, не могли

уже сразу освободить народъ отъ этихъ элементовъ. Еврейская ассимиляція была склонна разсматривать себя, какъ «катастрофу», какъ «революцію» (а въ томъ именно и заключалась ея первоначальная сила и ея «мессіанское» значеніе), а дѣйствительность развернула передъ нею длинный путь сложной и обременительной «эволюціи», съ ея многочисленными этапами, переходными ступенями и постепеннымъ наростаніемъ. Для того, чтобы достигнуть «виноградниковъ и смоковницъ» ассимиляціоннаго Ханаана, также требовались свои сорокъ лѣтъ блужданій по «пустынѣ» эволюціи, а эти именно «сорокъ лѣтъ» и убили въ ассимиляціи ея душу, ея порывы и паѳосъ.

Идея катастрофической еврейской ассимиляціи не осуществилась. Она произвела въ еврействѣ цѣлый рядъ опустошеній и перетасовокъ, не давъ ему того «исхода», къ которому оно порывалась въ лицѣ своихъ наиболѣе требовательныхъ и непримиримыхъ элементовъ. Но, несмотря на ту разрушительную роль, которую она сыграла въ еврейской жизни и исторіи, она все же должна быть разсматриваема, какъ очистительная гроза, пронесшаяся надъ унылой нивой голуснаго еврейства. Разрушая и опустошая, она одновременно съ этимъ созидала, оплодотворяла, и какъ бы парадоксально это ни звучало, приходится все же соглашаться съ тѣмъ, что именно ассимиляція подготовила въ еврействѣ почву для воспріятія *сіонизма**.

Гетто не могло дать дѣйственнаго сіонизма, ассимиляція дала его. Дѣло тутъ не только въ томъ, что ассимиляція, пріобщившая еврейство къ новымъ областямъ культуры и къ современной европейской цивилизаціи, дала ему въ руки такія орудія борьбы и созиданія, которыхъ у него ранѣе не могло быть, — не только въ томъ, что она усилила активное начало въ еврействѣ и повысила въ немъ способность къ жизнедѣятельности и жизнестроительству. Гораздо важнѣе другая заслуга ассимиляціи передъ новымъ, національнымъ еврействомъ: она привела къ тому именно, что мы назвали выше «*обнаженіемъ голуса*».

Ассимиляція снесла «островъ» еврейства; она лишила евреевъ того «оазиса», который они насадили для себя въ «пустынѣ» діаспоры. Благодаря эмансипаціоннымъ теченіямъ въ жизни христіанскихъ народовъ, евреи были возстановлены въ своихъ естественныхъ

---

* Отсылаемъ читателя къ прекрасной статьѣ Адольфа Бема «Wandlungen im Zionismus», напечатанной въ сборникѣ «Vom Judentum», Leipzig 1913.

правахъ; благодаря ассимиляціи, евреи стали воспринимать окружающій нееврейскій міръ, какъ равноцѣнный имъ элементъ. Эмансипированные евреи, если можно такъ выразиться, «даровали» и со своей стороны «равноправіе» христіанскому міру. Плоскость взаимнаго общенія значительно расширилась, евреи стали участвовать въ общемъ соціальномъ строительствѣ, входить въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ нееврейскимъ міромъ и подвергаться воздѣйствію общихъ съ этимъ міромъ соціологическихъ законовъ. Ассимиляція уничтожила тотъ соціальный и индивидуальный аскетизмъ, на которомъ держался уединенный и забронированный міръ гетто, и — что еще важнѣе — отрѣзала для еврейства путь возвращенія въ міръ аскетическаго гетто. Она дала форму и выраженіе тѣмъ запросамъ, которые вели въ гетто подпольное существованіе, увеличила количество этихъ запросовъ и повысила ихъ остроту. Она раскрыла передъ еврействомъ все многообразіе, всю сочность и яркость внутренней жизни другихъ народовъ, показала ему все убожество его жизни, поставила передъ нимъ зеркало, въ которомъ оно увидѣло всю изуродованность своего національнаго лица. Тѣ новыя общечеловѣческія потребности, которыя ассимиляція воспитала въ еврействѣ, какъ на Западѣ, такъ и на Востокѣ стали впослѣдствіи органической частью его національныхъ потребностей. И такъ какъ сильно увеличившіяся и повысившіяся національныя потребности, которыхъ не знало скудное запросами еврейство гетто, не могли находить себѣ удовлетворенія въ условіяхъ голуснаго существованія, то еврейство оказалось вынужденнымъ искать путей для ихъ удовлетворенія за предѣлами голуса — въ созданіи собственнаго территоріальнаго центра, въ *сіонизмѣ*.

Миноритарной націей еврейство могло почувствовать себя лишь по пробужденіи его національнаго сознанія послѣ крушенія ассимиляціоннаго движенія, ибо лишь тогда оно стало сталкиваться съ національнымъ большинствомъ въ процессѣ совмѣстнаго жизненнаго строительства и убѣждаться въ невозможности разряженія дремлющихъ въ немъ потенцій подъ давленіемъ чужого, властнаго національнаго *я*. Лишь послѣ эмансипаціи и сопутствовавшаго ей ассимиляціоннаго движенія стало возможнымъ воспріятіе голуса, какъ категоріи отрицательной по самой своей внутренней природѣ. Гетто воспринимало голусъ, какъ извѣстную сумму отрицательныхъ явленій, вытекающихъ изъ наличности *злой воли* господствующихъ народовъ, изъ сознательнаго, намѣреннаго угнетенія со стороны послѣднихъ. Для новаго же, послѣэмансипаціоннаго и послѣасси-

миляціоннаго еврейства* голусъ предсталъ уже въ своемъ органически отрицательномъ видѣ, своими непреходящими и неустранимыми сторонами, которыя находятся по ту сторону злой или доброй воли, ибо для этого еврейства выяснилась полная невозможность размежеванія «сферъ вліянія» двухъ самоутверждающихъ себя національныхъ *я* въ предѣлахъ одного и того же соціально-территоріальнаго организма. Голусъ, такимъ образомъ, разверзъ свои незаполнимыя пропасти; онъ доказалъ, что онъ довлѣетъ самъ въ себѣ. И лишь этотъ образъ самодовлѣющаго голуса и зрѣлище его раскрывающихся пропастей были способны вызвать въ еврействѣ дѣйственное стремленіе къ радикальному національному обновленію — сіонизмъ.

Ассимиляція радикализировала тенденціи еврейскаго націонализма. Она воспитала еврейскую личность, а черезъ посредство послѣдней и значительную часть народа, къ воспріятію сіонизма.

Сіонизмъ есть, такимъ образомъ, проявленіе волевого напора всколыхнутыхъ чарами ассимиляціи національныхъ потенцій еврейскаго народа — продуктъ обострившагося ощущенія непреодолимости того разстоянія, которое отдѣляетъ, въ условіяхъ голусной жизни, волю еврейства къ бытію и творчеству отъ возможности ея осуществленія. Сіонизмъ есть борьба за еврейскую индивидуальность — борьба не за сохраненіе и безплодное консервированіе тѣхъ или иныхъ зафиксированныхъ чертъ этой индивидуальности, а за созданіе свободнаго фона для ея безпрерывно новаго становленія, для ея свободнаго и (пользуясь терминологіей Бергсона) «кинематографическаго» развитія. Рефлекторъ исторіи освѣтилъ для новаго еврейства тѣ извилистые пути, которые ведутъ еврейскую индивидуальность черезъ постепенное обезличеніе къ національной Нирванѣ — и родился сіонизмъ, въ которомъ сочеталось самоутвержденіе еврейской современности съ борьбой за рожденіе и бытіе безчисленной вереницы будущихъ поколѣній. Сіонизмъ — борьба съ историческимъ рокомъ: яркое, радостное сіяніе новой, далекой зари борется на его фонѣ съ меланхолическими отблесками заката. Онъ превратилъ Агасѳера въ Прометея.

---

* Къ этому еврейству мы причисляемъ и восточно-европейскихъ евреевъ, несмотря на то, что до самаго послѣдняго времени они еще не были эмансипированы, ибо, благодаря вліяніямъ, приходившимъ съ запада, россійскіе евреи продѣлали приблизительно ту же эволюцію, что и ихъ западно-европейскіе братья задолго до своей эмансипаціи.

*

Х. Н. БЯЛИКЪ

# ПЕРЕДЪ КНИЖНЫМЪ ШКАФОМЪ

*

## ПЕРЕДЪ КНИЖНЫМЪ ШКАФОМЪ

Привѣтъ тебѣ, хранитель древнихъ свитковъ!
Твой пыльный кладъ опять цѣлую нѣжно...
Душа вернулась съ острововъ чужбины;
Дрожа, какъ голубь, странствовавшій долго,
Она стучится въ дверь родного дома.
Родные свитки! Снова съ вами я,
Питомецъ вашъ, отъ міра отреченный.
Увы! Изъ всѣхъ роскошныхъ благъ земли
Лишь васъ однихъ моя познала юность;
Вы садомъ были мнѣ въ разгарѣ лѣта,
Въ ночь зимнюю — горячимъ изголовьемъ;
И я привыкъ хранить средь вашихъ строкъ
Мое богатство — грезы о святынѣ.
Вы помните? Бывало, бетъ-га-мидрашъ
Одѣнетъ тьма; всѣ разошлись давно,
И въ тишинѣ придѣла — я одинъ;
Дрожа, слетаетъ съ устъ молитва дѣдовъ,
А тамъ, въ углу, близъ вашего ковчега,
Мерцаетъ тихо вѣчная лампада.

О, сколько разъ — я мальчикъ былъ, и пухъ
Еще не покрывалъ мои ланиты —
Меня ночные вѣтры заставали
Склоненнымъ низко надъ старинной книгой,
Исполненнымъ то грезъ, то тайной жути.
На столикѣ передо мною лампада

Безпомощно и тускло колыхала,
Въ шкафу, средь книгъ, скреблась упорно мышь,
Въ печи трещалъ послѣдній уголекъ;
Я замиралъ, томимый смертнымъ страхомъ,
Отъ ужаса стуча зубами... Помню,
Однажды — это было темной ночью —
За окнами слѣпыми, на дворѣ,
Угрюмо плача, завывала буря;
Трещали ставни; духи преисподней
Стучали въ домъ желѣзными крюками...
Моя твердыня рушилась во прахъ:
Украдкою, изъ-подъ святой завѣсы,
Покинувъ храмъ, Шехина удалилась,
И мой старикъ — моя вторая тѣнь
И грезъ моихъ свидѣтель молчаливый —
И онъ ушелъ и скрылся отъ меня.
Лишь пламя лампы тихо умирало,
Послѣдній разъ вздыхая передъ смертью...
И вдругъ окно разбилось... Все погасло,
И я — птенецъ безкрылый — изъ гнѣзда
Упалъ во власть безглазой, черной ночи.

И вотъ теперь, чрезъ много-много лѣтъ,
Чело и душу мнѣ избороздившихъ,
Меня опять поставилъ вѣтеръ жизни
Предъ вами, свитки, — чада Амстердама,
Славуты, Львова, Франкфурта. Опять
Рука моя страницы ваши гладитъ,
И тусклый взоръ блуждаетъ между строкъ,
Въ узорѣ буквъ пытаясь отыскать
Слѣды моей души, — изъ колыбели,
Взлелѣявшей ее, услышать эхо
Младенческихъ ея тревогъ и думъ.
Увы, мои наставники! Спокойна

Душа моя, и взоръ не увлажненъ...
Какъ ни гляжу, — узнать васъ не могу я,
Изъ вашихъ буквъ, о старцы, не глядятъ
На дно моей души живыя очи,
Измученныя очи стариковъ;
Ко мнѣ оттуда не доходитъ шопотъ
Изсохшихъ устъ, бормочущихъ въ могилахъ.
Мнѣ каждая строка — жемчужинъ черныхъ
Разсыпанная нить, страницы — вдовы,
А что ни буква — бѣдная сиротка.
Померкъ мой взоръ, и ослабѣлъ мой слухъ,
Иль вы истлѣли, вы, сыны безсмертья,
И на землѣ вамъ больше доли нѣтъ,
И тщетно я, какъ тать вооруженный,
Безъ фонаря, киркою землю рылъ,
Въ кромѣшной тьмѣ, не вѣдая покоя?
И день, и ночь въ могилахъ вашихъ роясь,
Я все искалъ златыхъ сокровищъ жизни,
Ихъ корни снизу и съ боковъ минуя.
А между тѣмъ сокровища сверкали
Надъ городомъ, людьми, и надъ холмами,
И на глазахъ у всѣхъ плоды качали,
И шумные водили хороводы,
Морскія дали пѣньемъ оглашая,
А до меня не донеслось и эхо.

Какъ знать? Быть-можетъ —
Когда я вновь, гробокопатель, выйду.
Съ кладбища духа въ царство черной ночи,
Тебя одну съ собою принеся,
Кирка, прилипшая къ моимъ ладонямъ,
И съ ветхой пылью на усталыхъ пальцахъ, —
Быть-можетъ, я — безпомощнѣй, бѣднѣй,
Чѣмъ раньше былъ — воздѣну руки къ ночи,

Моля ее принять меня на лоно
И ласково плащемъ закутать чернымъ,
И ей скажу, смертельно утомленный:
Приди, о ночь, и темными крылами
Покрой меня: я изъ могилъ бѣжалъ,
И сердце жаждетъ вѣчнаго покоя!
А вы, свѣтила ночи, братья въ духѣ,
Наперсники моей души!
О, почему храните вы молчанье?
Ужель вамъ брату нечего сказать
Златыхъ рѣсницъ нѣжнѣйшимъ трепетаньемъ?
Быть-можетъ, есть,—но вашъ языкъ забылъ я,
Таинственныхъ рѣчей не слышу вашихъ?
Отвѣтьте, звѣзды, ибо я тоскую.

*Перевелъ О. Румеръ.*

---

*

С. АН—СКІЙ

# У ИСТОЧНИКА

## СКАЗАНІЯ

*

# I

# ВСТРѢЧА

Далеко, далеко, за моремъ, въ Англійской землѣ жилъ Раби Мойше Мантефіоре. Былъ онъ великаномъ во Израилѣ, и имя его гремѣло отъ одного конца міра до другого. Состоялъ онъ главнымъ министромъ и первымъ совѣтникомъ англійской королевы, и передъ нимъ падали ницъ самые важные князья и графы. Даже короли и вельможи чужихъ странъ воздавали ему великія почести.

Обладалъ Мантефіоре несмѣтными богатствами. Онъ имѣлъ множество колодцевъ «живого серебра», изъ которыхъ его слуги день и ночь черпали ведрами, а колодцы оставались полными до краевъ. А «живое серебро», какъ извѣстно, дороже обыкновеннаго; нѣкоторые говорятъ — даже дороже золота. Можно себѣ, поэтому представить, какъ велико было богатство Мантефіоре! Жилъ онъ въ роскошномъ дворцѣ, украшенномъ золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными камнями, имѣлъ сотни слугъ и выѣзжалъ не иначе, какъ въ золотой каретѣ, запряженной восьмеркой лучшихъ лошадей цугомъ, а впереди бѣжали скороходы и кричали: «Дайте дорогу властелину Мантефіоре».

Однако, великой славы своей достигъ Мантефіоре не властью и богатствомъ, а благими дѣлами на пользу еврейскаго народа. Если гдѣ, хотя бы на краю свѣта, на евреевъ обрушивалась бѣда, происходило, Боже упаси, избіеніе, выдвигался противъ нихъ навѣтъ, гоненіе или иное преслѣдованіе, онъ тотчасъ ополчался, какъ левъ въ защиту своего народа, бѣжалъ къ королевѣ, падалъ къ ея ногамъ и молилъ о защитѣ; ѣздилъ къ королямъ чужихъ странъ, хлопоталъ, сыпалъ червонцами и не успокаивался, пока не отводилъ меча отъ головы Израиля. Вмѣстѣ съ этимъ отличался онъ большой благотворительностью: строилъ синагоги, ешиботы и богадѣльни, содержалъ на свой счетъ тысячи евреевъ, изучающихъ Тору, цѣлыя еврейскія общины, кормилъ бѣдныхъ, поддерживалъ падающихъ, утиралъ слезы вдовъ и сиротъ. При всемъ томъ былъ

онъ очень набоженъ, ни въ чемъ не отступалъ отъ закона, строго выполнялъ всѣ постановленія и обряды.

Но такъ какъ въ мірѣ полнаго совершенства нѣтъ, то кое чего не доставало и Мантефіоре. Недоставало учености...

Не былъ онъ, Боже упаси, неучемъ, невѣждой. Напротивъ! Прекрасно понималъ Талмудъ, каждый день проходилъ установленное число страницъ. И не такъ себѣ, а со всѣми толкованіями и поясненіями. Но... въ его ученіи не было тонкости и остроты, недоставало глубины и полета... И онъ самъ понималъ это, и огорчался ограниченностью разумѣнія своего.

Въ то самое время, когда во всемъ мірѣ гремѣла слава Мантефіоре, жилъ въ городѣ Минскѣ, что на Литвѣ, знаменитый раввинъ, раби Гершонъ Танхумъ. И былъ онъ тоже великаномъ во Израилѣ, и имя его также гремѣло отъ одного конца міра до другого. Зналъ онъ наизусть весь Талмудъ. Не было такой священной книги, которой онъ не изучилъ, и не было такого труднаго вопроса, въ которомъ не открылъ бы новыхъ путей. Душа его была неизсякаемымъ родникомъ живого серебра мудрости, и сколько ни черпалъ изъ него, родникъ оставался полнымъ до краевъ. Строилъ онъ дворцы и башни высокихъ соображеній и свободно разгуливалъ по садамъ и виноградникамъ величавыхъ сказаній. Свои духовныя сокровища раздавалъ онъ полными горстями всѣмъ, кто прибѣгалъ къ нему, насыщалъ голодныхъ, напоялъ жаждущихъ слова Божія и мудрости Торы.

Однако, и раби Танхуму кое чего недоставало. При всемъ своемъ величіи и мудрости, былъ онъ очень бѣденъ. Получалъ онъ содержанія два злотыхъ въ недѣлю, и, имѣя большую семью, жилъ въ большой нуждѣ и бѣдности.

И дошелъ до Мантефіоре слухъ о раби Танхумѣ и его великой мудрости. И рѣшилъ онъ въ сердцѣ своемъ взять раби Танхума себѣ въ учители. А если Мантефіоре что нибудь рѣшалъ, то ему, при такомъ могуществѣ и богатствѣ, не трудно было выполнить. Не сталъ онъ долго размышлять, велѣлъ слугамъ запречь восьмерку самыхъ быстрыхъ лошадей въ золотую карету, сѣлъ и поѣхалъ. Ѣдетъ, и, по обыкновенію своему, кидаетъ изъ оконъ кареты по обѣ стороны дороги горсти червонцевъ бѣднымъ. И даже не оглядывается, кто ихъ подбираетъ, евреи или не евреи. Ему все равно!

Надо вамъ знать, что отъ англійскаго царства до города Минска огромное разстояніе. Но какое это имѣетъ значеніе, когда мчатся на восьмеркѣ быстрыхъ лошадей! Прошло нѣсколько дней — и Мантефіоре уже въ Минскѣ. Остановился посреди города и спрашиваетъ, гдѣ живетъ раби Танхумъ? Ему указываютъ маленькую, ветхую избушку, въ переулкѣ, позади синагоги. Мантефіоре захо-

дитъ туда, видитъ — раби Танхумъ сидитъ за священной книгой. Подошелъ къ нему и говоритъ:

— Учитель мой, раби Гершонъ Танхумъ. Да будетъ вамъ вѣдомо, что я — Мойше Мантефіоре.

Когда раби Танхумъ услышалъ эти слова, онъ быстро поднялся и прежде всего громко произнесъ благословеніе, которое обязательно слѣдуетъ произносить при лицезрѣніи особъ царской крови и великихъ мужей:

— Благословенъ Ты, Адонай, Господь нашъ, Царь міра, удѣлившій изъ своего величія смертному!

Затѣмъ протянулъ ему руку съ привѣтствіемъ:

— Миръ вамъ!

Мантефіоре отвѣтилъ привѣтствіемъ и сказалъ:

— Да будетъ вѣдомо вамъ, раби Гершонъ Танхумъ, что я рѣшилъ взять васъ себѣ въ учители. Семьѣ вашей выдамъ сколько ей потребно на пропитаніе, а васъ увезу съ собою. Будете жить въ моемъ дворцѣ, сидѣть за моимъ столомъ и изъ моей руки будете получать на всѣ свои потребности, на одежду и обувь, баню и нюхательный табакъ.

Слушаетъ раби Танхумъ эту рѣчь — и не знаетъ, что сказать. Если самъ раби Мойше Мантефіоре пріѣхалъ за нимъ въ золотой каретѣ, можетъ ли онъ отказать? Но онъ все таки отвѣчаетъ, что ему надо посовѣтоваться съ женою и взять разрѣшеніе у общины. И онъ совѣтуется съ женою, беретъ разрѣшеніе у общины и даетъ свое согласіе. Мантефіоре тутъ же отсчитываетъ 1000 злотыхъ семьѣ раби Танхума, сажаетъ его къ себѣ въ карету и въ добрый часъ ѣдутъ.

Когда пріѣзжаютъ въ англійское царство, Мантефіоре прежде всего везетъ раби Танхума по своимъ владѣніямъ, показываетъ ему колодцы живого серебра, города и деревни, поля и лѣса, сады и виноградники и говоритъ:

— Учитель мой! Оглянитесь кругомъ. И насколько взоръ вашъ можетъ охватить, и еще дальше — все это мои владѣнія.

Глядитъ раби Танхумъ и удивляется. Никогда не представлялъ онъ себѣ, чтобы одинъ человѣкъ могъ владѣть такими несмѣтными богатствами.

Затѣмъ Мантефіоре повезъ раби Танхума къ себѣ во дворецъ и повелъ по всѣмъ комнатамъ, изъ которыхъ одна красивѣе другой. И всѣ онѣ украшены золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными камнями, увѣшаны самыми рѣдкими тканями. Оглядываетъ все это раби Танхумъ—и пораженъ. Никогда и во снѣ не видалъ онъ такой роскоши!

И Мантефіоре вводитъ раби Танхума въ самый большой залъ и весь онъ сіяетъ отъ драгоцѣнныхъ камней. И на потолкѣ его нарисованы солнце и луна и знаки зодіака — и всѣ они движутся. И во

всю длину залы стоятъ серебряные столы, покрытые золотыми скатертями, а на столахъ разставлены самыя тонкія явства и въ хрустальныхъ графинахъ налиты самыя тонкія вина. А за столомъ сидятъ князья, графы и вельможи, а съ другой стороны самые почетные и богатые евреи англійскаго царства. И сотни слугъ прислуживаютъ у столовъ. И какъ только Мантефіоре вошелъ, всѣ поднялись съ своихъ мѣстъ, низко поклонились ему и крикнули: «Да живетъ властелинъ нашъ, раби Мойше Мантефіоре!»

А раби Танхумъ, видя какія почести воздаютъ Мантефіоре, совершенно потрясенъ былъ отъ изумленія. И когда его сажаютъ на почетное мѣсто, онъ весь дрожитъ отъ страха передъ богатствомъ, роскошью и величіемъ Мантефіоре. И когда слуги подносятъ ему лучшія явства, онъ не можетъ взять ложки, ибо у него дрожатъ руки и ноги.

Послѣ обѣда, когда графы, князья и вельможи ушли, поднялся Мантефіоре и сказалъ:

— А теперь пусть раби Гершонъ Танхумъ намъ скажетъ Тору!

Хочетъ раби Танхумъ начать говорить — и не можетъ отъ великаго страха рта раскрыть. И Мантефіоре снова повторяетъ:

— Пусть раби Гершонъ Танхумъ намъ скажетъ Тору!

И раби Танхумъ дѣлаетъ большое усиліе и начинаетъ тихо дрожащимъ голосомъ излагать мудрости Торы. И Мантефіоре слушаетъ его. И чѣмъ дальше слушаетъ, тѣмъ больше удивляется богатству его познаній.

И раби Танхумъ дѣлаетъ еще усиліе — и вдругъ забываетъ про несмѣтныя владѣнія Мантефіоре, про колодцы «живого серебра», про поля и лѣса, сады и виноградники. И голосъ его перестаетъ дрожать. И онъ углубляется въ мудрости Галахи. А Мантефіоре слушаетъ его и уже пораженъ блескомъ его мудрости.

И раби Танхумъ дѣлаетъ послѣднее усиліе — и совершенно забываетъ про дворцы и хоромы, украшенные золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными камнями, про князей и графовъ, про великія почести, какія оказывались Мантефіоре. И голосъ его становится громкимъ и сильнымъ, и широкими взмахами паритъ онъ по райскимъ садамъ Агады. А Мантефіоре, пораженный величіемъ его разума, слушаетъ его съ большимъ трепетомъ.

А раби Танхумъ, забывъ про все окружающее, подымается до высочайшихъ вершинъ Торы, опускается въ самыя таинственныя глубины ея. И глаза его мечутъ искры и голосъ его гремитъ, какъ рыканье льва. А Мантефіоре, весь охваченный страхомъ передъ духовнымъ богатствомъ, красотой и величіемъ раби Танхума, еле сидитъ на мѣстѣ. И у него дрожатъ руки и ноги...

II

# ОСМѢЯНІЕ

Однажды, зимою, въ полупраздничный день, сидѣлъ святой Балъ-Шемъ* съ дружиной своихъ учениковъ и бесѣдовалъ. Бесѣдуя, совершали благословеніе надъ рюмочкой, курили трубки, а въ промежуткахъ пѣли. Когда пьютъ и поютъ, обыкновенно, бываютъ веселы, а когда люди веселы, — они смѣются.

Отзывается одинъ изъ святой дружины, раби Довидъ Лейкесъ:

— Смѣхъ — великое дѣло! Смѣхомъ радости можно служить Богу лучше, чѣмъ слезами печали.

На это святой Балъ-Шемъ замѣчаетъ:

— Существуетъ смѣхъ, еще болѣе возвышающій, чѣмъ смѣхъ радости. Это, когда не *ты* смѣешься, а *надъ тобою* смѣются.

Сказалъ, — и ни слова больше.

Подхватываютъ ученики изреченіе, начинаютъ пояснять, растолковывать его, точно развертываютъ свитки Торы.

Вступаетъ раби Волфъ Кицесъ:

— Когда я смѣюсь отъ радости, душа моя только расширяется, но не подымается ввысь. Если же надо мною смѣются, я оказываюсь въ положеніи скамеечки подъ ногами, на которую смѣющійся становится, чтобы поднятся. Но такъ какъ истинная причина повышенія лежитъ не въ немъ, а въ томъ, на что онъ опирается, то и ввысь подымается не смѣющійся, а тотъ, надъ кѣмъ онъ смѣется.

Не соглашается съ нимъ раби Довидъ Пиркесъ:

— Нѣтъ, — говоритъ онъ, — здѣсь кроется совершенно иной смыслъ. Если надо мною смѣются, значитъ, мои поступки или слова

---

* Балъ-Шемъ, или Балъ-Шемъ-Товъ («Добрый заклинатель»), такъ именуютъ великаго каббалиста-мистика, родоначальника хассидизма, раби Исроеля изъ Меджибожа, жившаго въ XVIII вѣкѣ (умеръ въ 1760 г.) Большинство хассидскихъ легендъ и сказаній связано съ его именемъ. Почти во всѣхъ нихъ фигурируютъ и его ученики и послѣдователи («Святая дружина»), о которыхъ также сложилось множество легендъ.

непонятны и новы для смѣющагося. А если я совершилъ или сказалъ что-нибудь новое, и внесъ въ міръ нѣчто обновляющее и этимъ поднялся на высшую ступень.

Отзывается слабымъ голосомъ болѣзненный раби Беръ изъ Межеричи:

— Смѣхъ («цхойкъ») и Побѣда («ницохойнъ») равны по буквенному значенію и тождественны по своей сущности. И смѣхъ и побѣда, завершая борьбу и опираясь лишь на томъ, что уже было, имѣютъ [illegible] прошлаго. А такъ какъ въ побѣдномъ смѣхѣ непремѣнно присутствуетъ жестокость, то онъ, по существу своему, матеріаленъ. Поэтому противоположная сторона, тотъ, надъ кѣмъ смѣются, обладаетъ и противоположными свойствами: онъ весь въ будущемъ и духовенъ. Это и подымаетъ его на высшую ступень.

Святой Баалъ-Шемъ молча выслушиваетъ учениковъ, улыбается и говоритъ:

— Пойдемъ куда-нибудь... Вѣроятно, по дорогѣ надъ нами гдѣ-нибудь посмѣются. Тогда и постигнете сущность этого смѣха...

Радуется святая дружина. При поѣздкахъ съ учителемъ всегда видишь удивительныя вещи.

Велятъ Алексѣ запрягать.

Алекса всю жизнь прослужилъ у святого Баалъ-Шема возницей. Многіе поэтому полагаютъ, что онъ былъ какимъ-то необыкновеннымъ человѣкомъ. Но это ошибка, Алекса былъ самымъ простымъ мужикомъ, къ тому же горькимъ пьяницей. Но онъ отличался одной особенностью: что ему ни приказывали, онъ тотчасъ исполнялъ безъ разсужденій и вопросовъ. При своихъ поѣздкахъ святой Баалъ-Шемъ обыкновенно приказывалъ Алексѣ садиться спиной къ лошади и спать. Онъ безпрекословно исполнялъ это. Если бъ ему было приказано запрячь лошадь хвостомъ впередъ и головой къ повозкѣ, онъ, не задумываясь и не разсуждая, принялся бы такъ запрягать. И не потому, чтобы онъ понималъ, что святому Баалъ-Шему не слѣдуетъ задавать вопросовъ. Попросту ему не была присуща сама способность «вопрошанія». А не была она ему присуща потому, что весь онъ находился на ступени «Исполненія» и еще не достигъ ступени «Знанія». Святой Баалъ-Шемъ часто указывалъ ученикамъ на это свойство Алексы. Однажды, углубившись въ каббалистическое размышленіе о двухъ [illegible], которыя соприкасаются, [illegible]

[illegible]

[illegible]

дитъ спиной къ лошади и спитъ. Морозъ обжигаетъ. Снѣгъ подъ полозьями визжитъ и стонетъ. Деревья въ лѣсу, трескаясь, перестрѣливаются. А святая дружина? — ее это и не трогаетъ! Даже болѣзненный раби Беръ изъ Межеричи забываетъ окутать шею шарфомъ. Всѣ углубились въ разсужденія. О чемъ? — О наградѣ и наказаніи.

Святой Балъ-Шемъ, по обыкновенію, слушаетъ молча. Затѣмъ улыбается, и точно мимоходомъ, замѣчаетъ:

— Если наказаніемъ искупается грѣхъ, то вѣдь наградой должна искупиться добродѣтель?

Святая дружина огорошена замѣчаніемъ. Всѣ умолкаютъ, испуганно переглядываются.

И вдругъ, раби Довидъ Пиркесъ выкрикиваетъ:

— Если наградой отнимается у насъ добродѣтель, то не надо мнѣ награды! Отказываюсь отъ нея! Достаточно мнѣ удовлетворенія отъ сознанія, что совершилъ благое дѣло.

Отзывается тихо раби Беръ изъ Межеричи:

— Тогда вѣдь удовлетвореніе превратится въ награду?

Раздается грозный голосъ суроваго «Толдеса»:

— Въ такомъ случаѣ, не надо и удовлетворенія! Отвергаю и добродѣтель и награду! Признаю только безпрерывное выполненіе воли Господней, какъ единственный источникъ жизни человѣческой. И ничего больше!

Ставитъ вопросъ раби Волфъ Кицесъ:

— Какъ же тогда понимать «грѣхъ»?

Молчатъ всѣ, не знаютъ, что отвѣтить. Приходитъ имъ на помощь святой Балъ-Шемъ, подставляетъ плечо:

— Если, — говоритъ онъ, — возможенъ человѣкъ безъ добродѣтели, то возможенъ и грѣхъ безъ человѣка.

И подтверждаетъ стихомъ изъ Библіи:

«И обернулся (Моисей) туда и сюда, и увидалъ, что нѣтъ человѣка» (Числа, II, 12). Оборачиваніе туда и сюда есть обликъ грѣха. И какъ только человѣкъ совершилъ грѣхъ, сейчасъ «видно, что нѣтъ человѣка», ибо, оторвавшись хотя бы на мигъ отъ источника жизни, человѣкъ становится мертвымъ. Значитъ, грѣхъ надо понимать, какъ смерть...

Спрашиваетъ раби Волфъ Кицесъ:

— А покаяніе?

Отвѣчаетъ святой Балъ Шемъ:

— Покаяніе — воскрешеніе изъ мертвыхъ.

Вдругъ останавливается лошадка. Остановилась такъ остановилась. Значитъ, такъ и должно быть, хотя кругомъ лѣсъ и не видно жилья. Вылѣзаютъ изъ саней. А такъ какъ наступаетъ время вечерней молитвы, то молятся. Вдругъ по дорогѣ показываются сани.

Ѣдутъ двое, издали похожи на дѣтей. Подъѣзжаютъ ближе — юноша и дѣвушка, сидятъ прижавшись другъ къ дружкѣ, почти замерзшіе. Ѣ лошаденка дохлая, еле переставляетъ ноги. Останавливаютъ ее, стараются привести молодыхъ людей въ чувство, даютъ имъ въ ротъ нѣсколько капель вина, они приходятъ въ себя. Спрашиваютъ ихъ кто они и куда? Плачутъ оба. Успокоившись, юноша разсказываетъ. Онъ и дѣвушка жили у богатаго корчмаря слугою и служанкою. Такъ какъ они оба круглые сироты и совершенно одиноки, они рѣшили обвѣнчаться и стали женихомъ и невѣстой. Тѣмъ временемъ, случается, что служанка не такъ быстро выполняетъ приказаніе корчмарши, и та гнѣвается и начинаетъ ее бить. Юношу это очень огорчаетъ, и хотя самъ слуга, онъ заступается за невѣсту. Тогда корчмарь избиваетъ ихъ обоихъ и выгоняетъ на улицу. Къ счастью, они имѣютъ нѣсколько червонцевъ, покупаютъ лошадку и сани и ѣдутъ, куда глаза глядятъ. Ѣдутъ нѣсколько недѣль, истратили до послѣдняго гроша и ужъ двое сутокъ ничего не ѣли. А тутъ еще морозъ окрѣпъ — они и потеряли послѣднія силы и стали замерзать.

Даютъ имъ ѣсть. Когда насытились, суровый «Толдесъ» строго спрашиваетъ:

— Какъ это юноша и дѣвушка ѣздятъ вмѣстѣ безъ «стража»?

Опускаетъ дѣвушка глаза, застыдившись. А юноша начинаетъ оправдываться.

Улыбается святой Балъ-Шемъ и говоритъ:

— Тогда поѣдемъ въ ближайшую корчму и обвѣнчаемъ ихъ.

Садятся въ сани. А раби Волфъ Кицесъ переходитъ къ жениху и невѣстѣ за «стража».

Ѣдутъ дальше. Черезъ короткое время лошади останавливаются у корчмы. Оглядываются юноша и дѣвушка — та самая корчма, гдѣ они служили. Они пугаются и удивляются, какъ могли столь быстро вернуться сюда обратно?

Выходятъ изъ корчмы хозяинъ и хозяйка. Узнаютъ своихъ слугъ и приходятъ въ большой гнѣвъ. Кричатъ:

— Опять притащились сюда, негодные? Чтобъ ноги вашей здѣсь не было!

Начинаетъ святой Балъ-Шемъ успокаивать ихъ:

— Нечего вамъ сердиться, — говоритъ онъ, — это мы взяли ихъ съ собою.

Отвѣчаетъ корчмарша:

— Нашли драгоцѣнный кладъ!

А святой Балъ-Шемъ говоритъ дальше:

— Такъ какъ юноша и дѣвушка — женихъ и невѣста, мы здѣсь у васъ обвѣнчаемъ ихъ.

Тутъ ужъ корчмарь и корчмарша не могутъ удержаться отъ смѣха. Какъ разъ нашелъ мѣсто, гдѣ устраивать свадьбу бездѣльникамъ! И велятъ ѣхать дальше.

А святой Балъ-Шемъ отвѣчаетъ спокойно:

— Нѣтъ, мы обвѣнчаемъ ихъ здѣсь, у васъ. И вы потрудитесь приготовить хорошій ужинъ.

Теперь корчмаръ и корчмарша уже громко хохочутъ, — еще ужинъ приготовить!

А святой Балъ-Шемъ продолжаетъ:

— Да! Вы приготовите ужинъ изъ лучшихъ яствъ съ дорогими винами. А мы заплатимъ сколько будетъ слѣдовать.

— А сколько заплатите? — спрашиваетъ, смѣясь, корчмарь.

— Сколько потребуете, — отвѣчаетъ святой Балъ-Шемъ, и показываетъ горсть червонцевъ.

Увидали червонцы и перестали смѣяться. Корчмарь взглянулъ на корчмаршу, она на него. У обоихъ является мысль: не украденные ли это червонцы? И оба тотчасъ успокаиваютъ себя: «какое намъ дѣло»? И корчмарь соглашается приготовить самый лучшій ужинъ.

Заходятъ всѣ въ корчму. Начинаютъ готовиться къ вѣнчанію. Когда все готово, самъ святой Балъ-Шемъ совершаетъ обрядъ вѣнчанія. Затѣмъ идутъ къ столу, сажаютъ молодыхъ въ почетномъ углу, ѣдятъ, пьютъ и веселятся.

Послѣ «Семи благословеній» святой Балъ-Шемъ подымается и громко вызываетъ:

— Теперь поднесемъ свадебные подарки молодымъ.

И прибавляетъ:

— Я дарю имъ эту корчму со всѣмъ хозяйствомъ, со всѣми строеніями, съ лошадьми, коровами и овцами!

Услыхавъ это, корчмарь и корчмарша начинаютъ покатываться со смѣху. И посылаютъ за крестьянами изъ деревни, чтобы они пришли посмѣяться надъ чудаками.

А тѣ дѣлаютъ свое.

Послѣ святого Балъ-Шемъ подымается «Толдесъ».

— А я, — говоритъ онъ, — дарю молодымъ весь лѣсъ на милю вокругъ корчмы!

— А я, — отзывается тихо раби Беръ изъ Межеричи, — дарю имъ водяную мельницу!

— А я — винокурню! — подхватываетъ раби Волфъ Кицесъ.

А раби Довидъ Лейкесъ даритъ 1,000 корцевъ хлѣба изъ графскихъ амбаровъ.

А раби Довидъ Пиркесъ — 100 бочекъ вина изъ графскаго погреба.

Подбѣгаетъ къ столу корчмарь и, покатываясь со смѣху, кричитъ:

— А я дарю молодымъ тѣ 10,000 червонцевъ, которые графъ сегодня получилъ аренды отъ своихъ корчмарей!

Не хочетъ отстать отъ мужа и корчмарша и, задыхаясь отъ смѣха, кричитъ:

— А я дарю невѣстѣ брилліантовую брошь и драгоцѣнныя серьги, которыя носитъ на себѣ графиня!

Спрашиваетъ святой Балъ-Шемъ:

— Можетъ-быть, подарите молодымъ что-либо изъ собственнаго добра? Вѣдь служили вамъ столько лѣтъ!

Хохочетъ корчмарь. А корчмарша, смѣясь, говоритъ мужу:

— Подари имъ «дворецъ», что на окраинѣ деревни!

Всѣ громко хохочутъ. На окраинѣ деревни стоитъ ветхая лачужка съ провалившейся крышей, безъ оконъ и дверей.

А святой Балъ-Шемъ спрашиваетъ:

— Больше ничего не подарите?

Больше ничего!

Вздыхаетъ святой Балъ-Шемъ. Встаетъ изъ-за стола, платитъ за ужинъ тяжелыми червонцами и прибавляетъ еще червонецъ за скатерть, которою накрытъ столъ. Затѣмъ призываетъ молодого человѣка и говоритъ ему:

— Собери въ скатерть все, что осталось отъ ужина: недоѣденныя яства, недопитыя вина возьми къ себѣ въ сани. И садись съ женою и поѣзжай въ добрый часъ.

— Куда? — спрашиваетъ молодой человѣкъ?

— Вправо... — отвѣчаетъ святой Балъ-Шемъ.

И больше — ни слова. Затѣмъ садится вмѣстѣ съ святой дружиной въ сани и ѣдутъ обратно. Не успѣваютъ оглянуться — и уже въ Меджибожѣ.

* * *

А молодой человѣкъ исполняетъ все, что ему велѣлъ святой Балъ-Шемъ: забираетъ съ собою скатерть съ остатками ужина, садится съ женою въ сани и ѣдетъ вправо. А корчмарь и корчмарша и крестьяне изъ деревни провожаютъ ихъ громкимъ хохотомъ, насмѣшками и ругательствами. И они ѣдутъ и не понимаютъ, что произошло съ ними, и кажется имъ, что все это было сномъ. Но вспоминаютъ, какъ надъ ними смѣялись и у нихъ щемитъ сердце и они горько плачутъ.

Тѣмъ временемъ начинаетъ свѣтать. Вдругъ останавливается лошадка. Оглядываются молодые, видятъ издали въ снѣгу лежитъ человѣкъ. Подъѣзжаютъ ближе, лежитъ молодой панъ, совсѣмъ замерзшій, но еще бьется сердце. Начинаютъ приводить его въ чувство, растираютъ снѣгомъ, — открываетъ онъ глаза. Вспоминаетъ

молодая женщина, что у нихъ въ скатерти вино со свадебнаго ужина, бѣжитъ къ санямъ, приноситъ вино и вливаетъ молодому пану въ ротъ нѣсколько капель, чтобы оживить его. Онъ приходитъ въ себя и слабымъ голосомъ проситъ ѣсть. Вспоминаетъ молодая женщина, что у нихъ въ скатерти много яствъ со свадебнаго ужина, бѣжитъ къ санямъ, приноситъ и даетъ молодому пану ѣсть. И онъ ѣстъ съ большой жадностью и выпиваетъ цѣлую бутылку вина. И когда насыщается, разсказываетъ, что съ нимъ произошло.

Онъ — единственный сынъ стараго графа, владѣльца всей округи. Вчера онъ выѣхалъ на охоту. Вдругъ лошадь понесла, сбросила его съ себя и убѣжала. Остался онъ одинъ въ глухомъ лѣсу. И чѣмъ дальше идетъ, все больше углубляется въ лѣсъ. Кричитъ онъ, но никто его не слышитъ. Блуждалъ цѣлыя сутки, выбился изъ силъ и отъ большой усталости, голода и холода упалъ безъ чувствъ и сталъ замерзать.

Тѣмъ временемъ, пока онъ разсказываетъ, начинаютъ издали раздаваться звуки рожковъ, голоса, топотъ лошадей. И тотчасъ появляется много всадниковъ съ каретами. И когда видятъ молодого графа, всѣ сильно радуются, подбѣгаютъ и цѣлуютъ ему руки и подхватываютъ его и сажаютъ въ карету и быстро уѣзжаютъ.

И молодой человѣкъ съ женою остаются одни въ лѣсу и не понимаютъ, что произошло съ ними. И кажется имъ, что все это было сномъ.

Когда привозятъ молодого графа во дворецъ, выбѣгаютъ ему навстрѣчу старый графъ съ графиней, обнимаютъ и цѣлуютъ его и велятъ устроить большой пиръ. И не могутъ опомниться отъ радости. Тѣмъ временемъ молодой графъ вспоминаетъ про своихъ спасителей и велитъ позвать ихъ. Но никто не знаетъ, гдѣ они. Тотчасъ посылаютъ всадниковъ разыскивать ихъ. И скоро ихъ приводятъ во дворъ и ведутъ въ лучшій залъ, и графъ съ графиней очень благодарятъ ихъ, что спасли жизнь единственному ихъ сыну. И старый графъ спрашиваетъ, кто они и откуда? И молодой человѣкъ разсказываетъ, какъ онъ съ женою служили у такого-то корчмаря и тотъ, разгнѣвавшись, избилъ и выгналъ ихъ. И старый графъ приходитъ въ большой гнѣвъ на корчмаря и кричитъ:

— За то, что онъ выгналъ васъ, — я дарю вамъ его корчму со всѣмъ хозяйствомъ, со всѣми строеніями, съ лошадьми, коровами и овцами.

Отзывается графиня:

— А я дарю имъ весь лѣсъ на милю вокругъ корчмы!

Выступаетъ молодой графъ:

— А я, — говоритъ онъ, — за то, что они спасли меня отъ смерти, дарю имъ водяную мельницу, и винокурню, и 1,000 корцевъ хлѣба изъ нашихъ амбаровъ, и 100 бочекъ вина изъ нашего погреба!

А старый графъ прибавляетъ:

— Вѣдь имъ на первое время нужны наличныя деньги. Дарю имъ тѣ 10,000 червонцевъ, которые вчера получилъ аренды отъ своихъ корчмарей.

Не хочетъ отстать отъ мужа и графиня:

— Такъ какъ молодая женщина — новобрачная, дарю ей бриллiантовую брошь и драгоцѣнныя серьги, которыя ношу на себѣ.

И снимаетъ съ себя и одѣваетъ на молодую женщину брошь и серьги.

А молодые люди стоятъ ошеломленные отъ большого счастья и не понимаютъ, что творится съ ними. И имъ кажется, что все это происходитъ во снѣ. И вспоминаетъ молодой человѣкъ про корчмаря и корчмаршу и ему становится жалко ихъ и онъ спрашиваетъ:

— Куда же дѣнутся корчмарь съ женою въ такой морозъ?

Хохочетъ старый графъ:

— Какое тебѣ дѣло до нихъ?

А графиня, смѣясь, говоритъ мужу:

— Подари корчмарю «дворецъ», что на окраинѣ деревни!

Всѣ громко хохочутъ. На окраинѣ деревни стоитъ ветхая лачужка, съ провалившейся крышей, безъ оконъ и дверей.

Слушаютъ молодой человѣкъ съ женою этотъ смѣхъ и кажется имъ, что смѣются не графъ и графиня и окружающiе ихъ, а корчмарь съ корчмаршей, съ крестьянами изъ деревни. И у нихъ снимается сердце и они начинаютъ горько плакать...

* * *

Когда объ этой исторiи говорили за столомъ у святого Баль-Шема, онъ произнесъ стихъ изъ Библiи:

«Даже въ смѣхѣ болитъ сердце» («Притчи Соломоновы», XIV, 13).

И пояснилъ:

— Даже когда надо мною смѣялись, у меня болѣло сердце за корчмаря и корчмаршу. Ихъ жалко было вдвое.....

И онъ тяжело вздохнулъ.

---

★

ИВ. БУНИНЪ

# БЛАГОВѢСТІЕ О РОЖДЕНІИ ИСААКА

★

## БЛАГОВѢСТІЕ О РОЖДЕНІИ ИСААКА

Они пришли тропинкою лѣсною,
Когда текла полдневная жара
И въ синемъ небосклонѣ предо мною
Кудрявилась зеленая гора.

Я былъ какъ дубъ у чернаго шатра,
Я былъ богатъ стадами и казною,
Я сладко жилъ утѣхою земною,
Но вотъ, пришли: «Встань, Авраамъ, пора!»

Я отдѣлилъ для Вѣстниковъ телицу.
Ловя ее, увидѣлъ я гробницу,
Пещеру, гдѣ оливковая жердь,

Пылая, озаряла Двухъ Почившихъ, —
Гробъ праотцевъ, Эдема насъ лишившихъ,
И такъ сказалъ: «Рожденье чадъ есть смерть».

---

*

Г. ШОФМАНЪ

# РАЗСКАЗЫ

*

I

# ГАНЯ

На горѣ въ рощѣ, посреди маленькаго двора, стоялъ выбѣленный домикъ, манившій издали сквозь сплетеніе сосенъ своими свѣтло-прозрачными окнами. Съ боковой стороны домика постоянно торчала телѣга о двухъ колесахъ съ опущенными на-земь оглоблями, а на ней старая бочка изъ-подъ воды. У конюшни были скучены груды дерева — березы, — а около нихъ въ обрубокъ ствола былъ воткнутъ навостренный топоръ.

Каждое утро, когда Ганя, дѣвочка двѣнадцати лѣтъ, вставала со сна, ей отчасти непріятно бывало за свои босыя ноги, замаранныя ссохшейся грязью, и она спѣшила на дворъ къ влажной отъ росы травѣ. Втихомолку забиралась она въ огородъ, что за оградой двора, кралась вдоль грядокъ, искала чего-то, стряхивая между тѣмъ на подолъ платья капли росы съ широкихъ листьевъ рѣпы. Часто она лазила на вишневое дерево, высившееся позади улья, и пряталась въ его верхушкѣ.

Отецъ ея, ополячившійся нѣмецкій колонистъ, сутуловатый, съ просѣдью, насаживалъ на носъ темныя очки, и въ углу двора, близъ курятника, возился со столярными принадлежностями, — чинилъ какую-либо дощечку въ ульѣ. Остріе топора тупѣло въ работѣ, и тогда онъ его точилъ на точильнѣ, стоявшей неподалеку. Его старшій сынъ вертѣлъ колесо, и когда худощекій старикъ прижималъ къ точильному камню острый край топора, налегая на него съ особымъ напряженіемъ своихъ послѣднихъ силъ, — накипало какое-то странное чувство жалости къ нему, и появлялось желаніе шепнуть ему тогда на ухо о его маленькой Ганѣ, которой нѣтъ равной среди дѣвушекъ по красотѣ и прелести.

Порою, по воскресеньямъ, приходила сюда «экскурсія» школы изъ сосѣдняго города. Тогда лѣсной покой здѣсь нѣсколько нарушался. Ученики, милые мальчуганы, опаленные зноемъ, потные и слегка обнаженные, со стриженными головами, сверкавшими на солнцѣ, — словно саранча разлетались по столамъ и скамейкамъ, что

между сосенъ, по балкону домика, по забору двора, по зеленой лужайкѣ. Особенно занята бывала тогда старая крестьянка, съ сѣрыми, умными глазами, раздававшая имъ всѣмъ хлѣбъ съ масломъ и простоквашу. Въ это время Ганя любила усаживаться на качеляхъ, подвѣшенныхъ на желѣзныхъ цѣпяхъ межъ двухъ объемистыхъ сосенъ, и слѣдить оттуда, какъ звѣренышъ, за гомономъ этого новаго и чуждаго міра.

Ученикъ, съ вздернутымъ носомъ и шаловливыми глазами, увильнетъ, бывало, отъ шумливой ватаги, подойдетъ къ качелямъ и качнетъ ихъ разъ и два. Качели двигаются тихо-тихо, и Ганя, счастливая, раскачивается силой толчка взадъ и впередъ. Качели замедляются и останавливаются, и тогда Ганя, требуетъ и молитъ, сперва робко и стыдливо, а затѣмъ настойчиво и съ какой-то страстной дерзостью:

— Еще!...

Тогда мальчикъ напрягаетъ остатокъ своихъ силъ и кидаетъ качели. Ганя летитъ въ воздухѣ и добирается почти до верхушекъ сосенъ, а оттуда она глядитъ далеко-далеко, надъ рощей и полемъ, въ сторону города, — глядитъ своими красивыми, влажными глазами, которые сверкнули вотъ сейчасъ, какъ голубоватые жучки — въ ту минуту, когда они расправляютъ свои крылышки, чтобы вспорхнуть...

Четыре года спустя, когда Ганя попала въ кривой переулокъ, что на краю города, потянуло тамъ вдругъ лѣснымъ ароматомъ. Освѣжился сразу отвратительный и душащій воздухъ, будто незримое дерево — дерево широколиственное — стало тутъ шелестѣть надъ головой. По ночамъ стали оттуда призывно мигать и ворожить красные фонари, и надорванныя, меланхолическія мелодіи, носившіяся черезъ раскрытыя окна, стали теперь до того сладостными, что жаль становилось, когда изъ-за упрашиваній и приставаній къ прохожимъ онѣ обрывались посединѣ. Смѣялась Ганя смѣхомъ ликующимъ, сочнымъ, ея дыханіе было тяжело и благоуханно, а отъ ея глубокихъ укусовъ, которыми она впивалась въ верхнюю часть плеча, — будто бурливыя волны вина колыхали затѣмъ весь слѣдующій день, уносили все дальше и дальше, опять въ тотъ кривой переулокъ съ его страннымъ, тяжелымъ и приманчивымъ воздухомъ.

Нетерпѣливо блестѣли на фабрикахъ распаленные глаза закопченныхъ лицъ — осіянные пламенемъ мѣховъ. Цѣлыми толпами тянулись горемыки всю ночь, ндя и напѣвая, идя и горланя

въ порывѣ необузданнаго разгула, — туда, все туда, и на порогѣ дома уже дрожалъ вопросъ:

Гдѣ Ганька?

И отвѣтъ былъ каждый разъ кратокъ и мучителенъ: —

«Занята!»...

Обжорство ограбленныхъ жизнью и удушенныхъ городомъ, жестокое обжорство, не вѣдающее насыщенія, кинулось на прекрасное твореніе, полевой ростокъ, безпрестанно высасывало его сокъ, требовало и молило со страстной дерзостью:

— Еще!...

Умерла Ганя нѣсколько лѣтъ спустя скоропостижно на разсвѣтѣ. Лежала она поперекъ кровати, и лицо ея приняло выраженіе той дѣтской мольбы о жалости, которая была разлита на немъ издавна, еще тогда, въ тѣ лѣтніе вечера, въ домѣ ея отца, когда она, истомленная, засыпала, бывало, на голомъ диванѣ, а прусаки быстро сѣменили по полу. Глаза ея были чуть пріоткрыты — видны были лишь краешки голубоватыхъ крылышекъ, когда они засверкаютъ, чтобы вспорхнуть...

Хозяинъ «дома», съ синимъ носомъ и толстымъ брюхомъ, прикрикнулъ на жену:

— Охота бабѣ держать всегда дохлыхъ!

И тутъ же промолвилъ:

— Дай мнѣ бѣлья! Иду въ баню.

Въ банѣ, какъ всегда, теръ и скребъ ему тѣло изо всѣхъ силъ высокій банщикъ съ бѣльмомъ въ одномъ глазу. Хозяинъ «дома» лежалъ на спинѣ на умывальной доскѣ, что сбоку полки, и протягивалъ банщику то одну руку, то другую.

Его выхоленное и жирное тѣло поблескивало въ сѣроватомъ туманѣ. Кромѣ ихъ обоихъ, не было сейчасъ никого. Потолокъ былъ черенъ, окна съ желѣзными рѣшетками — закопчены, и пахло вѣникомъ. Поверхъ большихъ, желтыхъ и мокрыхъ камней, чернѣла пустота печи — будто гигантская раскрытая пасть. Брызгало, хлюпало и плескало водой, и трещалъ кузнечикъ.

## II

# НА ПОСТУ

Рѣчка, протекавшая между городомъ Б. и лагеремъ, раскинувшимся по всему предмѣстью, была мутна и невзрачна, и пить изъ нея было строго запрещено солдатамъ. Поэтому воду на весь лагерь брали изъ единственнаго колодца съ желѣзнымъ насосомъ, который солдаты сами вырыли для себя. По распоряженію командира полка возлѣ колодца былъ поставленъ караулъ, какъ и возлѣ всего остального полкового имущества. Когда фельдфебель отправлялъ караулъ, онъ предостерегалъ «дневальнаго», назначеннаго охранять колодецъ:

— Жидамъ изъ города не давать воды ни подъ какимъ видомъ!

Въ тотъ разъ, когда дневальнымъ былъ Абрамъ Дыхно, фельдфебель поспѣшно прибавилъ:

— Слышишь ты, жидъ?

Но тотчасъ улыбнулся еврею ласковой, игривой улыбкой, словно говорившей: «тебя-то мы все-таки любимъ».

Дыхно былъ еврей съ Волыни, изъ деревни, рыжеватый и широкоплечій.

Онъ быстро свыкся съ атмосферой военной службы, сдѣлался первоклассным стрѣлкомъ, а по лѣстницѣ взбирался до самой крыши казармы. Въ полевой гимнастикѣ онъ былъ однимъ изъ немногихъ счастливцевъ, которымъ удавалось перескочить черезъ широкую «волчью яму», и ротный командиръ, капитанъ Ушковъ, смотрѣлъ на него съ затаеннымъ удовольствіемъ, какъ отецъ, любующійся сыномъ... Когда прибывали новобранцы, тотъ же капитанъ обращался къ евреямъ, бывшимъ въ ихъ числѣ:

— Будьте молодцами, хоть вы и евреи. Будьте, вотъ, какъ нашъ Дыхно!

И онъ указывалъ пальцемъ на Дыхно, который возился съ чисткой ружья, вскидывая его вверхъ и однимъ глазомъ смотря въ дуло на свѣтъ...

Дыхно особенно любилъ свое ружье, то и дѣло чистилъ его и смазывалъ масломъ, чтобы ружье, сохрани Богъ, не заржавѣло. Любилъ онъ и свои «казенные» сапоги съ широкими носами, по всѣмъ правиламъ надѣвалъ «набрюшникъ» и стригъ волосы на головѣ до самаго черепа. Когда порой молодые солдаты подметали казарму подъ его наблюденіемъ, онъ понукалъ и торопилъ ихъ, словно «капралъ», бралъ самъ въ руки метлу, подметалъ и ворчалъ:

— Вотъ какъ метутъ! Вотъ! Чтобъ не оставалось пыли! Работать «вѣрой и правдой»! Не учили словесности? Сѣрье!

«Вѣрой и правдой» служилъ онъ самъ. На посту, напримѣръ, онъ ни разу не задремалъ. Всѣ два часа своего караула онъ безъ устали ходилъ вокругъ зданія и, лишь завидитъ тѣнь человѣка, тотчасъ кричалъ:

— Кто идетъ?

И теперь, въ одиннадцатомъ часу вечера, теплаго лѣтняго вечера, стоя у колодца, онъ былъ особенно бдителенъ и смотрѣлъ впередъ, по направленію къ городу. За нимъ спалъ лагерь со своими палатками, сараями и «бараками», въ которыхъ жили офицеры. Только иногда оттуда доносились запоздалые приказы, которые громко передавали другъ другу часовые по «линіи». Приказы относились къ учебной стрѣльбѣ, которая должна быть завтра на разсвѣтѣ, стрѣльбѣ на разстояніе 1500 шаговъ, въ которой немногимъ удается попадать въ цѣль. Дыхно вспомнилъ, какъ въ прошломъ году онъ не промахнулся въ этой стрѣльбѣ ни разу, и онъ воображалъ себѣ фразу, которую онъ самъ выкрикнетъ по окончаніи ея:

— Дыхно всѣ пятьдесятъ пуль всадилъ, ваше высокоблагородіе!

— Молодецъ! — слышится ему въ воображеніи голосъ капитана изъ палатки.

Теплая волна гордости словно подхватила его и понесла въ высоту, и оттуда онъ смотрѣлъ теперь на лежавшій передъ нимъ городъ. Тамъ понемногу погасали огни, слышался стукъ запираемыхъ дверей, отрывистые голоса. Гдѣ-то по-близости закричала еврейка:

— Ай-ай-ай, какіе дорогіе гости! Мендель, ставь самоваръ!

Дыхно преисполнился презрѣнія къ этой убогой жизни, отъ которой онъ сталъ такъ далекъ за два года службы, къ этой жизни, въ которой нѣтъ ни малѣйшаго понятія объ искусствѣ стрѣльбы, о красотѣ «церемоніальнаго марша», о чудесахъ гимнастики, къ этой жизни безъ отваги, безъ хожденія въ ногу, безъ «присяги»...

Послышались шаги по мосту, сопровождаемые лязгомъ желѣзныхъ ведеръ. Какой-то еврей изъ города, навѣрно, идетъ сюда за водой. Дыхно пощупалъ штыкъ и насторожился.

— Кто идетъ? — закричалъ онъ по русски.

— Дай, солдатикъ, зачерпнуть воды! — попросилъ подошедшій человѣкъ, не зная, какъ видно, что передъ нимъ — еврей.

Покорный тонъ подошедшаго чѣмъ то задѣлъ Дыхно, и онъ отвѣтилъ:

— Не велѣно. Не дамъ!

— Только на самоваръ...

— Нѣтъ, нѣтъ!

Тотъ повернулся и пошелъ прочь съ отчаяніемъ:

— Капли воды ему жалко...

— Ну, ну, много тутъ не разговаривай, — закричалъ Дыхно ему вслѣдъ, — жидъ!

## III

## У ДОРОГИ

Декабрьскій день склонялся къ вечеру. Стекла низкихъ оконъ, въ полдень оттаявшія было отъ солнца, снова затянулись морозными узорами, тонкими и красивыми; на желтой досчатой перегородкѣ лежали красные четыреугольники свѣта. Съ улицы, издалека, доносился вечерній благовѣстъ, а въ сѣняхъ блеяла коза. Холодъ усиливался съ приближеніемъ вечера.

Старая хозяйка, съ прищуренными глазами, потерявшая въ началѣ прошлой зимы своего мужа — меламеда, по обыкновенію, сидѣла у печки и вязала чулокъ. Очнувшись отъ своего молчанія, она сказала:

— Коза кричитъ, надо ей рѣдьки нарубить.

И, помолчавъ немного, продолжала:

— Шлойме высокаго не видать вотъ уже съ Пасхи. Навѣрно, ужъ умеръ.

Ея единственный сынъ, Мордхай, человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, слегка сутулый, съ маленькой черной бородкой, прямымъ острымъ носомъ и темными, влажными глазами, потянулся къ перекладинѣ, проходившей по досчатой перегородкѣ, и положилъ на нее большой молитвенникъ, который только что кончилъ переплетать. Постоявъ, по обыкновенію, съ четверть часа неподвижно, онъ, наконецъ, очнулся:

— А? Шлойме высокій? О! черти бъ его взяли...

Прошло еще нѣсколько минутъ.

— Что это нынче весь день не слыхать собаки Трихмана? — снова вспомнила старуха.

— А? Собаки? Собака больна — мнѣ Трихманъ говорилъ — и сколько дней уже не лаетъ. Надо теперь ея остерегаться, какъ бы не сбѣсилась.

На старомъ, скрипучемъ диванѣ были разложены туго набитыя, холодныя котомки. Это были котомки нищаго ребъ Нисона, который ходилъ по-міру и уже съ незапамятныхъ временъ поселился въ этомъ домѣ, стоявшемъ на окраинѣ города, при дорогѣ, ведущей въ его мѣстечко, Дубровну.

Снаружи послышалось хрустѣнье утоптаннаго снѣга. Тѣнь прошла по окнамъ, выходившимъ на востокъ, и по блѣдной выбѣленной стѣнѣ напротивъ. Открылась дверь, и старый, высокій человѣкъ вошелъ въ домъ, согнувшись подъ своимъ узломъ. Съ палкой въ рукѣ, быстрыми шагами онъ перешелъ комнату, мимоходомъ проговоривъ «добрый день» и, нагнувшись спиной къ дивану, сбросилъ узелъ и выпрямился во весь ростъ.

— Ну, вотъ и Шлойме высокій, — сказали старуха и Мордхай въ одинъ голосъ. — А мы было думали, что ты уже умеръ.

Шлойме высокій по привычкѣ потеръ одну руку о другую, подошелъ къ Мордхаю, уставилъ на него смѣющіеся глаза и обмерзшую бороду и сталъ пальцами щекотать его подъ мышками, подталкивать его и таскать его за руки взадъ и впередъ, приговаривая со смѣхомъ:

— Какъ поживаешь, Моткеле, Моткеле?...

Мордхай пытался сопротивляться, хватая старика за холодныя, дрожащія, но сильныя руки, и устало отвѣтилъ:

— Экій сильный, какъ дубъ. Чѣмъ больше старѣетъ, то больше у него силы.

Улыбка исчезла съ губъ Шлойме высокаго, и онъ отсталъ отъ Мордхая.

— А эти котомки чьи?

— Ребъ Нисона. Онъ тоже здѣсь. Вѣрно, сейчасъ придетъ.

Снаружи свѣжій иней покрывалъ плетень, тянувшійся отъ дома Мордхая до сосѣдней избы мужика Трихмана. На кольяхъ плетня были развѣшаны опрокинутые горшки. Направо изъ дымовыхъ трубъ поднимаются и стелются синіе столбы дыма, запахъ котораго разносится вдаль, и вырисовываются на южной сторонѣ неба, красноватой отъ холоднаго свѣта заходящаго солнца; а налѣво, за заборомъ, тянутся до сѣвернаго горизонта, окутаннаго полумракомъ, пустые, широкіе огороды, а за ними поля, покрытыя ровной и гладкой пеленой чистаго синеватаго снѣга; одинокіе клочки прошлогодней травы сиротливо торчатъ изъ нея, и снѣжная крупа волнами перекатывается по гладкой поверхности, гонимая завывающимъ вѣтромъ, скользитъ, разсыпается, набивается въ кучи и

сглаживаетъ маленькія ямки — слѣды волковъ, разгуливающихъ тутъ по ночамъ. На сѣверо-восточной сторонѣ виднѣется пустынная дорога, ведущая въ Дубровну, съ рядомъ высокихъ тополей и гудящими телеграфными столбами. Снѣгъ вокругъ принимаетъ голубоватый вечерній отблескъ, тамъ и сямъ извиваются пробитыя борозды — слѣды саней, стѣны домовъ трещатъ отъ мороза, воробьи безшумно выпархиваютъ изъ-подъ крышъ. Шаги скрипятъ, морозъ щиплетъ уши и щеки, застилаетъ глаза и опушаетъ рѣсницы инеемъ, а внутри носа какъ будто стелется паутина.

— Морозъ съ вѣтромъ, — воскликнулъ ребъ Нисонъ, ввалившись въ домъ вмѣстѣ съ клубами бѣлаго пара.

Съ приходомъ чужихъ въ подавленной, унылой атмосферѣ дома людямъ стало какъ-то веселѣе, но это веселье мало прибавило пріятнаго, оно было холодно, какъ котомки на диванѣ.

Старуха принялась топить печку. Она выбивается изъ силъ, раздувая огонь, не разгорающійся въ сырыхъ дровахъ, открываетъ печную трубу, стучитъ въ ней вьюшками, и наконецъ огонь занимается и вспыхиваетъ въ печкѣ, пѣна выступаетъ на концахъ полѣньевъ, и по темнымъ стѣнамъ прыгаютъ большія пятна свѣта.

Зажгли маленькую лампочку и поставили на столъ. Пятна на стѣнахъ пропали.

Нищіе молча возятся съ котомками. Каждый вытаскиваетъ изъ своей котомки куски, полученные въ подаяніе, и собирается ужинать. Они жуютъ, аппетитно разрѣзаютъ хлѣбъ маленькими ножичками, а Мордхай тѣмъ временемъ вертитъ во всѣ стороны палку Шлойме высокаго, и спрашиваетъ:

— А гдѣ же та палка?

— Изъ рукъ украли — отвѣчаетъ Шлойме высокій.

— А-а-а, — соболѣзнуетъ Мордхай. — Чудная была палка.

Онъ ставитъ палку на мѣсто, и на глаза ему попадается корявая яблоновая палка ребъ Нисона.

Онъ беретъ и ее.

— Давайте, ребъ Нисонъ, помѣняемся палками: вы мнѣ дадите эту, а я вамъ дамъ за нее черную палку, кривую, дубовую.

— Я не цыганъ — отвѣчаетъ ребъ Нисонъ своимъ сухимъ отрывистымъ голосомъ.

Мордхай начинаетъ разсуждать про себя:

— Безъ палки вѣдь невозможно ходить по дорогамъ. Однажды, — обращается онъ къ нищимъ, — иду я по дорогѣ ночью и про-

хожу мимо одного двора, и вотъ, кабы не черная палка, собаки разорвали бы меня въ клочки.

Онъ беретъ ножичекъ Шлойме высокаго и спрашиваетъ:

— Во что вамъ обошелся этотъ ножикъ? У меня вчера мой ножикъ украли. «Гой» одинъ приходилъ сюда ночевать. Всякую ночь онъ приходитъ, и всегда пьяный, а ты выходи раздѣтый и отворяй ему. А потомъ онъ жужжитъ въ уши и не даетъ спать. Вчера додумался и укралъ мой ножикъ. И теперь я, какъ безъ рукъ: нечѣмъ обровнять книгу и нечѣмъ обрѣзать пергаментъ. Конецъ. Больше не отопру ему.

— Что новаго въ городѣ? — спрашиваетъ ребъ Нисонъ.

Спустя нѣсколько минутъ, Мордхай собирается отвѣтить:

— А? Новаго? Какія новости?... Абрамъ Кабалкинъ умеръ.

— «Десница его, какъ тѣнь преходящая» — вздыхаетъ ребъ Нисонъ.

— Лучше ѣсть хлѣбъ съ сыромъ, чѣмъ умереть, — тихонько смѣется Шлойме высокій.

Послѣ ужина нищіе вытаскиваютъ свои большіе кошельки и высыпаютъ на двухъ концахъ стола, — Шлойме высокій на одномъ, а ребъ Нисонъ на другомъ, — по кучѣ мѣдяковъ: они перебираютъ и переворачиваютъ монеты, не торопясь, а Мордхай, дѣлая видъ, что не смотритъ въ сторону нищихъ, стоитъ въ отдаленіи. Что это будетъ, что будетъ?! Полѣзай опять на печку и снова на печку... Три мѣсяца кряду онъ возится съ переплетомъ одного молитвенника, а «мезузы»*, которыя онъ за это время написалъ, всѣ испорчены. Правда, и онъ иногда берется за умъ, бросаетъ домашнюю работу, беретъ кривую черную палку и бродитъ «по міру» годъ-другой, но всякій разъ, возвращаясь изъ странствованія, онъ приноситъ съ собой только цѣлую пачку махорки и четыре гроша. Не больше.

Придется не спать всю ночь и написать хотя бы одну «мезузу» — рѣшаетъ онъ.

Въ комнатѣ холодно, несмотря на топящуюся печку; стужа проникаетъ сквозь трещины рамъ и щели въ стѣнахъ, и при каждомъ сказанномъ словѣ изо рта выходитъ бѣлый паръ. Огонь въ печкѣ мало-по-малу уменьшается, пока не превращается въ груду тлѣющихъ углей. Старуха закрываетъ дымовую трубу и говоритъ:

---

* Маленькій пергаментный свитокъ съ молитвеннымъ текстомъ, прибиваемый къ дверямъ косякамъ.

— Боюсь, какъ бы угару не было.

Ребъ Нисонъ достаетъ табакерку, бѣлую костяную табакерку, и, прислонившись къ стѣнѣ, съ наслажденіемъ нюхаетъ табакъ, а Шлойме высокій, который не куритъ и не нюхаетъ, расхаживаетъ по комнатѣ, легко ступая ногами, обутыми въ туфли и чулки, засунувъ руки за поясъ, и тихо напѣваетъ глухимъ голосомъ какіе-то обрывки напѣвовъ, которые катятся, словно бревна съ горы.

— Сколько лѣтъ было твоему отцу, когда онъ умеръ? — обращается ребъ Нисонъ къ Мордхаю.

— Пятидесяти восьми не исполнилось.

И по комнатѣ словно проносится образъ отца Мордхая, покойнаго ребъ Іосифа меламеда, съ тонкими, отчетливыми чертами лица и красивыми, ласковыми сѣрыми глазами. Всякій разъ онъ, бывало, самъ постилалъ нищимъ бродягамъ постель, а потомъ долго засиживался одинъ надъ «Мишной», услаждая ихъ сонъ чудными тихими напѣвами, переплетавшимися съ завываніемъ вѣтра на улицѣ, съ дребезжаніемъ стеколъ, съ колотушкой ночного сторожа...

— Еще можно бы ему жить и жить... — вздохнулъ ребъ Нисонъ.

Спустя нѣкоторое время оба нищихъ одинъ за другимъ влѣзаютъ на печку и пропадаютъ въ черномъ пространствѣ. Старуха уходитъ къ себѣ въ темную каморку, спрашиваетъ оттуда Мордхая, заперъ ли онъ дверь въ сѣняхъ и тоже ложится.

А Мордхай разстилаетъ на голомъ столѣ кусокъ матеріи, кладетъ на него пергаментъ, разставляетъ перо и чернильницу, садится и принимается писать «мезузу» лѣвой рукой: онъ — лѣвша.

Написавъ три первыя строчки, онъ начинаетъ чувствовать, что у него горятъ кончики ушей и холодѣютъ колѣни и ступни: его охватываетъ трепетъ творчества. Буквы выходятъ изящныя, и слова выходятъ живыми и четкими, а длинное слово въ концѣ третьей строчки на этотъ разъ умѣстилось вполнѣ свободно, что ему очень рѣдко удается. Его «мезузы» вообще всегда бываютъ испорчены, благодаря разсѣянности, овладѣвающей имъ во время писанія, и на чердакѣ валяются въ пескѣ, среди старыхъ, покрывшихся пятнами бутылокъ, множество испорченныхъ, не доконченныхъ «мезузъ», въ которыхъ буквы скорчены и скомканы. Онъ стряхнулъ чернила съ пера, постучавъ имъ объ уголъ стола, взялъ перо въ зубы и сталъ потирать пальцы, улыбаясь по обыкновенію.

Его гигантская тѣнь растянулась сзади него по досчатой перегородкѣ и дотянулась до половины потолка. На оштукатуренной

стѣнѣ передъ нимъ вылѣзли изъ щелей тараканы и остановились, не шевелясь. За печкой трещалъ сверчокъ. Окна побѣлѣли отъ пелены инея, которая все плотнѣе затягивала ихъ. Снаружи доносился прерывистый стукъ колотушки ночного сторожа, а далеко-далеко, за Днѣпромъ, раздавались свистки желѣзной дороги, далекіе свистки, обрывистые, мимолетные и грустно — рѣзвые...

Перо, съ трудомъ двигаясь по шероховатому пергаменту, скрипѣло. До ушей Мордхая долетѣлъ бой городскихъ часовъ.

— Разъ, два, три... — началъ онъ считать вслухъ.

Но вдругъ его прервалъ хриплый женскій голосъ, залившійся дикой пѣсней невдалекѣ отъ дома. Это пьяная Аксинья направляется теперь изъ шинка домой къ домику, стоящему на скатѣ горы надъ рѣкой. Пѣсня разливалась, удалялась, замирая, пока не закончилась послѣдней тягучей нотой, — той нотой, что вызываетъ воспоминаніе о снѣгахъ и вѣтрахъ прошлыхъ зимъ, о дѣтскихъ годахъ, о крышахъ, заборахъ, огородахъ, тополяхъ, раскачиваемыхъ вѣтромъ надъ Днѣпромъ...

— Моткеле, принеси мнѣ немножко воды, — попросилъ Шлойме высокій съ печи.

Мордхай лѣниво поднялся, взялъ ковшикъ, зачерпнулъ воды, подернутой льдинками, и подалъ Шлоймѣ.

— Какая холодная вода. Даже въ вискахъ отдаетъ.

Снаружи заскрипѣли шаги, сопровождаемые невнятнымъ бормотаньемъ. Мордхай узналъ голосъ и сказалъ:

— Вонъ «гой» идетъ...

Раздалися глухіе удары въ двери сѣней.

— От-во-ри-те.

— Н-нѣтъ... Сказалъ «нѣтъ», — такъ нѣтъ.

— Отворите, добрые люди, добрые люди, откройте же.

— Стучи хоть до утра...

Стукъ прекратился. «Гой» перешелъ отъ двери къ восточному окну, и лицо его выглянуло изъ-за стеколъ, затянутыхъ инеемъ; послышался придушенный умоляющій голосъ, сопровождаемый сильными ударами по рамѣ окна.

— Отворите, добрые люди, а то — замерзну.

Старуха проснулась и вышла изъ своей каморки въ одной рубашкѣ, и, ставъ посреди комнаты, заворчала:

— А что же будетъ? Онъ сидитъ до полуночи. Лампа горитъ. Пьяные со всего свѣта приходятъ сюда стучаться. Потуши огонь, онъ и уйдетъ.

— Потуши огонь, — повторилъ Шлойме высокій съ печи.

— Откройте, откройте, я замерзаю...

— Ступай себѣ къ своимъ, — говоритъ Мордхай черезъ стекло.

«Гой» заплакалъ, и трудно было разобрать, настоящій ли это плачъ, или притворный.

Мордхай погасилъ лампу, и тотъ умолкъ.

Послышалось какое-то царапанье по стѣнѣ снаружи и постукиванье палкой, слабое, словно нечаянное постукиванье по нижнимъ бревнамъ избы. Повидимому, «гой» нагнулся и растянулся на землѣ.

При наступившей въ домѣ темнотѣ сверкала бѣлизна снѣга на улицѣ. Одно изъ южныхъ оконъ заискрилось узорами инея, и на досчатой перегородкѣ появились свѣтлыя пятна. Это былъ свѣтъ, падавшій изъ дома Тимохи насупротивъ, и оттуда доносились одинъ за другимъ глухіе удары. Это толкли крупу.

Мордхай подошелъ къ восточному окну и выглянулъ въ щелочку, не затянутую инеемъ. Онъ увидѣлъ валенки «гоя» и пеструю собаку.

Спустя нѣкоторое время Мордхай принялся бродить по темной комнатѣ взадъ и впередъ, пока не собрался съ духомъ и влѣзъ на печку. Печка была высоко, почти подъ потолкомъ, не то теплая, не то холодная, полная тряпокъ, пыли, клоповъ. Тутъ былъ непроглядный мракъ. Сперва Мордхай не видалъ ничего, и только мало-по-малу сталъ различать ребъ Нисона, лежавшаго у южной стѣны, Шлойме высокаго, раскинувшагося навзничь посреди печки, бревна стѣнъ, паклю, шевелившуюся отъ наружнаго вѣтра... Вѣтеръ завывалъ въ печной трубѣ и стучалъ вьюшками.

Мордхай сидѣлъ на краю печки, закинувъ ногу на ногу, закурилъ папиросу, и, выкуривъ ее, зѣвнулъ. Потомъ онъ откашлялся и прочистилъ голосъ.

Какъ всегда, онъ сталъ напѣвать грустнымъ, страннымъ, необычнымъ напѣвомъ.

Въ темной и холодной пустотѣ пронеслось дыханіе осени, и запахло яблоками. Уличная грязь блеститъ при свѣтѣ фонарей, а въ подвалахъ при тускломъ свѣтѣ лампочки виднѣются красныя яблоки, разложенныя на доскахъ, устланныхъ соломой. Крики капоресъ* слышатся въ ночной темнотѣ сквозь туманъ. «Іомъ-Кипуръ» ясный

---

* Капоресъ — птица, зарѣзываемая, по обычаю, въ канунъ дня всепрощенія, какъ замѣна искупительной жертвы.

и спокойный, широкіе желтые листья валяются и шуршатъ отъ легкаго вѣтра по блѣднымъ дорогамъ, а въ домахъ только одни ребята... Ясные дни, солнце пригрѣваетъ щеки, а въ затылокъ дуетъ холодный вѣтеръ; бѣлыя паутинки прилипаютъ къ лицу и щекочутъ его, небо блѣдное, и бумажный змѣй плаваетъ въ немъ... Сѣрые дни, тусклая завѣса тучъ, бабы въ огородахъ выкапываютъ изъ грядъ послѣднюю картошку, задираютъ головы къ верху и смотрятъ на дикихъ гусей, летящихъ прямой линіей на югъ и кричащихъ въ облачномъ небѣ.

Мордхай пѣлъ молитвы «о царствахъ», «я вспоминаю тебѣ милость твоей юности», «какъ пастухъ, обходящій свое стадо» и «человѣкъ — его основа во прахѣ»; послѣдній синагогальный гимнъ онъ самъ переложилъ на мотивъ Аксиньи.

Вотъ первый снѣгъ. Мужицкія телѣги нагружены кочнами капусты. Гуси гогочутъ... Холодный, унылый вѣтеръ дуетъ въ сумеречномъ воздухѣ; пробуждается желаніе прижаться къ отцу, къ его зимней шубѣ. Начинаетъ чувствоваться странный, тяжелый запахъ, запахъ отчаянья, словно тотъ запахъ, что распространяли прошлой осенью склянки съ лекарствами, пузырь, набитый льдомъ, тотъ запахъ, что носился въ домѣ всѣ тридцать дней, пока миньянъ* собирался на заупокойную молитву.

Повѣяло запахомъ смерти.

И туманная безконечность, слѣдующая за смертью, смотрѣла снаружи въ окна вмѣстѣ съ бѣлизной снѣга... Чувствовалось, какъ жизнь убываетъ съ каждымъ вздохомъ. Вотъ еще немного... еще немного... еще немного... Кисти рукъ нѣмѣютъ и сжимаются въ кулаки, на минуту является желаніе ухватиться за край трубы.

— «И какъ сонъ, развѣется»... — поетъ Мордхай, вытягивая ту же послѣднюю ноту, напоминающую снѣга и вѣтеръ прошлыхъ зимъ, дѣтскихъ лѣтъ, крыши, заборы огородовъ, тополя, качающіеся отъ вѣтра надъ Днѣпромъ...

Шлойме, высокій, проснулся и сказалъ:

— Сумасшедшій остается сумасшедшимъ. Коли весь міръ что-нибудь рѣшаетъ, стало быть, онъ знаетъ, что рѣшать. Сперва онъ сидитъ до полуночи, огонь горитъ, «гои» стучатся, а потомъ онъ распѣваетъ въ потемкахъ. Пока отецъ былъ живъ, по крайней мѣрѣ, боялся немного. Теперь...

---

* Десять человѣкъ, количество необходимое для публичнаго богослуженія.

Мордхай расстилаетъ свою [illegible] постель на краю печки, раздѣвается, ложится головой къ трубѣ и накрывается своимъ сюртукомъ, съ продранными боками. Затѣмъ мало-по-малу успокаивается, и стужей вѣетъ отъ мокрой потолка и стѣнъ. Надо было бы собраться съ духомъ, встать, покрыться еще чѣмъ нибудь, не дрожать, дабы выйти изъ стужи... Но онъ все лежитъ и не двигается.

Какъ будто Шлойме покойный спитъ подлѣ него, и все еще бранится и сердится. На эти крики и брань въ одно и то же время и близки и далеки, и нисколько не тревожатъ Мордхая, а наоборотъ, навѣваютъ на него какой-то сладкій покой, разливающійся по всѣмъ членамъ, убаюкивающій и успокаивающій...

А за стѣнами, на дворѣ, трещали отъ мороза стволы деревьевъ и стѣны заборовъ, вылъ вѣтеръ, сметая сухой снѣгъ, холодныя, веселыя звѣзды мигали на темномъ небѣ, лаяли собаки, вдали и вблизи, и волки бродили по пустыннымъ огородамъ, покрытымъ глубокимъ снѣгомъ, пересѣкая ихъ [illegible].

*Перевела Е. Жиркова.*

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ

# БИБЛІЯ

## БИБЛІЯ

О, книга-книгъ! Кто не извѣдалъ,
Въ своей измѣнчивой судьбѣ,
Какъ ты цѣлишь того, кто предалъ
Свой утомленный духъ — тебѣ!

Въ чредѣ видѣній неизмѣнныхъ,
Какъ совершенна и чиста
Твоихъ страницъ проникновенныхъ
Младенческая простота!

Не меркнутъ образы святые,
Однажды вызваны тобой:
Предъ Евой — искушенье змія,
Съ голубкой возвращенной — Ной!

Все, — въ страшный часъ въ горахъ, застыли
Отецъ и сынъ, костеръ сложивъ;
Живъ обликъ женственной Рахили,
Израиль — богоборецъ — живъ!

И кто, житейское отбросивъ,
Не плакалъ въ дѣтствѣ, прочитавъ,
Какъ братьевъ обнималъ Іосифъ,
На высотѣ честей и славъ!

Кто проникалъ, не пламенѣя,
Вѣковъ таинственную даль,
Познавъ сіянье Моисея,
Съ горы несущаго скрижаль!

Рѣзецъ, и карандашъ, и кисти,
И струны, и пѣвучій стихъ —
Еще свѣтлѣй, еще лучистѣй
Творятъ рядъ образовъ твоихъ.

Какой поэтъ, какой художникъ
Къ тебѣ не приходилъ, любя?
Еврей, христіанинъ, безбожникъ,
Всѣ, всѣ учились у тебя!

И сколько мыслей геніальныхъ
Съ тобой невидимо слиты:
Сквозь блескъ твоихъ страницъ кристальныхъ
Намъ свѣтятъ геніевъ мечты.

Ты вѣчно новой, вѣкъ за вѣкомъ,
За годомъ годъ, за мигомъ мигъ,
Встаешь, — алтарь предъ человѣкомъ,
О Библія! о, книга-книгъ!

Ты — правда тайны сокровенной,
Ты — откровенье, ты — завѣтъ,
Всевышнимъ данный всей вселенной —
Для прошлыхъ и грядущихъ лѣтъ!

1918.

---

*

Х. Н. БЯЛИКЪ

# ПОДЪ ОБОЛОЧКОЙ ЯЗЫКА

*

# ПОДЪ ОБОЛОЧКОЙ ЯЗЫКА

Люди изо дня въ день, намѣренно и непроизвольно, бросаютъ на вѣтеръ цѣлыя груды словъ и ихъ различныя сочетанія и только немногіе знаютъ или отдаютъ себѣ отчетъ, чѣмъ были эти слова въ пору ихъ мощи. Многія изъ этихъ словъ рождались въ тяжелыхъ и долгихъ мукахъ многихъ поколѣній. Многія изъ нихъ внезапно вспыхивали молніями и единымъ взлетомъ освѣщали цѣлые міры. Черезъ многія изъ нихъ тянулись и проходили сонмы живыхъ душъ — душа приходила и душа уходила и каждая оставляла за собою тѣнь и ароматъ. Многія изъ нихъ служили оболочками для очень тонкаго и сложнаго механизма глубокихъ мыслей и возвышенныхъ чувствъ въ ихъ наиболѣе поразительныхъ сочетаніяхъ. Есть слова — горы Божіи и слова — бездна великая. Бываетъ, въ одномъ маломъ словѣ скрыта вся сущность, все безсмертіе глубокой философской системы, итогъ цѣлаго міросозерцанія. Есть слова, которыя въ свое время покоряли народы и земли, низвергали царей съ ихъ престоловъ, потрясали основы земли и неба. Но наступалъ день, и эти слова теряли свое величіе и были, выброшены въ будни жизни, и теперь люди роняютъ ихъ въ легкой бесѣдѣ, какъ горошины чечевицы.

Слѣдуетъ ли удивляться всему этому? Безцѣльны жалобы на законы природы. Таковъ порядокъ міра, — слова возвеличиваются и слова низвергаются и становятся будничными. И важнѣе всего: вѣдь нѣтъ въ языкѣ ни одного слова, какъ бы легковѣсно оно ни было, которое въ часъ своего рожденія не являлось бы могущественнымъ и потрясающимъ душевнымъ откровеніемъ, великой и возвышенной побѣдой духа. Въ тотъ часъ, когда, напримѣръ, первый человѣкъ былъ потрясенъ раскатомъ грома — «Гласъ Божій въ мощи, гласъ Божій въ величіи» — и когда онъ повергся ницъ, пораженный изумленіемъ и объятый Божественнымъ трепетомъ, изъ его устъ само собой вырвалось какъ бы въ подражаніе звукамъ при-

роды нѣчто вродѣ дикаго выкрика, вродѣ звѣринаго рева, нѣчто близкое звуку рр, который встрѣчается въ наименованіи грома въ многочисленныхъ языкахъ, — развѣ этотъ дикій выкрикъ не принесъ великаго освобожденія его потрясенной душѣ? Развѣ въ этомъ крикѣ — отголоскѣ души, всколыхнутой до послѣднихъ глубинъ, проявилось меньше творческой мощи и меньше трепета и ликованія творческой побѣды, чѣмъ въ «удачномъ выраженіи», полномъ возвышеннаго смысла, вырывающемся изъ устъ великаго провидца въ часъ душевнаго воспаренія? Развѣ въ этомъ незначительномъ слогѣ, зернѣ будущаго слова, не заключенъ чудесный строй изначальныхъ переживаній, переживаній могущественныхъ по своей свѣжести и величавыхъ по своей дикости, — нѣчто вродѣ трепета, страха и изумленія, подчиненія, восторга, побужденія къ самозащитѣ и т. п. И если это такъ, то развѣ и первый человѣкъ въ это мгновеніе не являлся художникомъ и возвышеннымъ провидцемъ, интуитивно творящимъ звукъ, необычайно вѣрно выражающій — по крайней мѣрѣ для него самого — самыя глубокія и запутанныя душевныя содраганія? Какъ много глубокой философіи, какъ много божественнаго откровенія, — какъ это уже отмѣтилъ одинъ мыслитель, — было въ незначительномъ словѣ «я», произнесенномъ первымъ человѣкомъ?

При всемъ этомъ мы все же видимъ, что эти слова и многія другія, подобныя имъ, являются неотъемлемой частью языка, и мы даже не замѣчаемъ ихъ. Душа почти не затрагивается ими. Ихъ содержаніе поглощено, ихъ душевная сила выдохлась или же она затаена гдѣ-то далеко, и только ихъ оболочки, выброшенныя изъ единичнаго владѣнія во всеобщее пользованіе, еще остаются въ языкѣ и вяло несутъ для насъ рефлективную службу въ ограниченныхъ предѣлахъ логики и общественныхъ сношеній, въ качествѣ внѣшнихъ знаковъ и абстракцій для вещей и явленій. Дошло до того, что человѣческій языкъ сталъ какъ бы двумя языками, изъ которыхъ каждый утверждаетъ себя разрушеніемъ другого: съ одной стороны, языкъ внутренній, языкъ души и погруженія въ себя, въ которомъ основой, какъ въ музыкѣ, является «какъ», — въ сферѣ поэзіи; съ другой стороны, языкъ внѣшній, языкъ абстракцій и обобщеній, въ которомъ основой, какъ въ математикѣ, является «что» — въ области логики. Кто знаетъ, можетъ-быть, такъ лучше для человѣка, что онъ наслѣдуетъ оболочку слова безъ ея содержанія. Этимъ онъ каждый разъ получаетъ возможность самостоятельно наполнять эту оболочку содержаніемъ или увеличи-

вать это содержаніе и проникать ее своимъ собственнымъ душевнымъ свѣтомъ. Человѣкъ стремится къ самопроявленію, и если бъ изрекаемое слово навсегда сохранило полноту своей силы и свой первоначальный блескъ, если бъ его вездѣ сопровождалъ весь сонмъ переживаній и мыслей, которыя были связаны съ нимъ во дни его расцвѣта, — тогда, можетъ-быть, никакое глаголющее, существо никогда не достигло бы выявленія своей сущности и своего собственнаго душевнаго свѣта. Въ концѣ-концовъ, порожній сосудъ открытъ для вмѣщенія, а наполненный сосудъ закрытъ для вмѣщенія, и если лишенное содержанія слово порабощаетъ, тѣмъ болѣе наполненное имъ.

Больше всего тутъ поражаетъ то чувство увѣренности и спокойствія, которыя сопутствуютъ человѣку въ его рѣчи, словно онъ дѣйствительно ведетъ свою изрекаемую мысль или чувство по тихимъ водамъ и по желѣзному мосту, и онъ самъ не подозрѣваетъ, насколько шатокъ этотъ мостъ, сооруженный изъ словъ, насколько глубока и мрачна зіяющая подъ нимъ бездна и какимъ чудомъ является каждый благополучный шагъ, совершаемый имъ.

Вѣдь ясно, что языкъ во всѣхъ его сочетаніяхъ совершенно не вводитъ насъ во внутренній міръ, въ абсолютную сущность вещей, но, наоборотъ, онъ самъ заграждаетъ намъ путь къ нимъ. Внѣ ограды языка, за его завѣсой, духъ человѣка, обнаженный отъ своей словесной оболочки, вѣчно блуждаетъ и мятется. Нѣтъ реченія и словъ, но есть вѣчное *блужданіе,* вѣчное «что», застывшее на устахъ. Въ дѣйствительности тутъ нѣтъ мѣста даже для этого «что», ибо въ самомъ смыслѣ «что» таится уже надежда на отвѣтъ. Остается только «Ничто — уздой замкни свои уста».

Если все же человѣкъ достигъ дара рѣчи и находитъ въ немъ успокоеніе, это вытекаетъ изъ его великаго страха остаться на мгновеніе наединѣ, лицомъ къ лицу, съ тѣмъ мрачнымъ хаосомъ, съ тѣмъ «ничто», безъ отдѣляющей завѣсы. «Да не увидитъ меня человѣкъ и останется живъ», — говоритъ хаосъ, и каждое реченіе, каждое колебаніе слова является нѣкоторымъ покровомъ надъ клочкомъ «ничто», является оболочкой, замыкающей въ себѣ мрачную каплю вѣчнаго «не знаю». Ни одно слово не уничтожаетъ цѣликомъ какой-либо вопросъ; оно его только сокрываетъ подъ своей оболочкой. Безразлично, что представляетъ собою это слово. Замѣните его другимъ, лишь бы въ данный моментъ оно послужило достаточной завѣсой и сокрытіемъ.

Двѣ сестры-соперницы, находящіяся на двухъ различныхъ по-

люсахъ, нѣмая музыка и говорящая знаками математика, одинаково свидѣтельствуютъ, что не въ томъ или иномъ словѣ дѣло, что слово это только своего рода клочекъ ткани изъ хаоса. Подобно тому, какъ тѣла становятся ощутительными для глаза и ограниченными въ своихъ предѣлахъ тѣмъ, что они на занимаемомъ ими пространствѣ заслоняютъ собою свѣтъ, такъ и слово получаетъ свое существованіе только благодаря тому, что оно закрываетъ собою небольшое отверстіе въ этомъ хаосѣ и заслоняетъ собою его мракъ, не давая ему прорваться и затушевать границы слова. Одиноко стоящій во тьмѣ и мракѣ ночи и дрожащій отъ страха издаетъ звуки, читаетъ «шема» или насвистываетъ губами. Зачѣмъ? Этимъ средствомъ онъ пользуется для того, чтобы отвлечь свое вниманіе и разсѣять свой страхъ. Такимъ образомъ, сила изрекаемаго слова — или цѣлой системы словъ — также не въ его опредѣленномъ содержаніи, если вообще есть таковое, но въ *отвлеченіи вниманія,* связанномъ съ этимъ изрекаемымъ словомъ. Закрываніе глазъ въ концѣ-концовъ, — наиболѣе легкое и пріятное, хотя и воображаемое, убѣжище отъ опасности. И тѣмъ вѣрнѣе это убѣжище, если и сама опасность таится въ раскрываніи глазъ. Хорошо поступилъ Моисей тѣмъ, что «скрылъ свое лицо». Кто знаетъ, можетъ-быть изначальное слово было изречено не въ обществѣ двоихъ, въ ихъ взаимномъ общеніи съ чисто служебной цѣлью, но оно именно вырвалось изъ устъ человѣка, сидящаго одиноко, въ его общеніи съ самимъ собою, какъ самоцѣль, какъ результатъ душевной потребности, ибо «духъ мой изумляется во мнѣ и съ сердцемъ моимъ я говорю». Не успокоился первый человѣкъ, пока не далъ внять себя ушамъ своимъ. Но тотъ же изначальный голосъ, который вознесъ человѣческое сознаніе изъ пучины хаоса, самъ всталъ внезапно, какъ отдѣляющая стѣна между человѣкомъ и потустороннимъ, словно говоря: отнынѣ, человѣкъ, да будетъ направлено лицо твое къ посюстороннему. Позади себя не гляди и въ таинственное не заглядывай и если заглянешь, то тщетно проникнетъ туда твой взоръ, ибо не дано человѣку видѣть «хаосъ» лицомъ къ лицу и остаться въ живыхъ. Забытый сонъ — не вспомнится больше. Къ «хаосу» твое влеченіе, и слово будетъ владычествовать надъ тобою.

Въ дѣйствительности «мысль и слово» имѣютъ силу лишь въ «посюстороннемъ», въ тѣсныхъ предѣлахъ пространства и времени. Лишь въ ихъ тѣни ходитъ человѣкъ, и чѣмъ болѣе онъ приближается къ воображаемому свѣту, что *впереди его,* тѣмъ больше сгущается тѣнь *позади его,* и мракъ вокругъ него такимъ образомъ не

разрѣжается. Въ посюстороннемъ можно, можетъ быть, объяснить многое съ большимъ или меньшимъ трудомъ, но можно объяснить. Главное то, чтобы полное пространство мысли человѣка ни на одно мгновеніе не осталось пустымъ, безъ словъ, тѣснящихся и расположенныхъ другъ возлѣ друга, — на подобіе чешуи панцыря, — такъ чтобы между ними не осталось ни малѣйшаго промежутка.

Свѣточъ мысли и слова — головни и пламени — вовѣки не угасаетъ. Но что, въ концѣ-концовъ, значитъ это пространство посюсторонняго, находящагося въ предѣлахъ воображаемаго свѣта, въ сравненіи съ безконечнымъ моремъ вѣчнаго мрака, который все еще остается и навсегда останется извнѣ. Въ концѣ-концовъ именно этотъ вѣчный мракъ, наводящій такой ужасъ, — вѣдь онъ самъ всегда влечетъ къ себѣ втайнѣ сердце человѣка, пробуждаетъ въ немъ скрытое томленіе — на мгновеніе заглянуть въ этотъ мракъ. Всѣ боятся этого мрака и всѣ влекутся къ нему. Устами нашими мы воздвигаемъ надъ нимъ завѣсы многочисленныхъ словъ и системъ для того, чтобы скрыть его отъ глазъ, и тотчасъ же ногтями нашими стараемся процарапать и продырявить эти завѣсы, для того, чтобы открыть въ нихъ небольшое отверстіе, хоть какую нибудь щель, и черезъ нее на одно мгновеніе заглянуть въ потустороннее. Но, увы, тщетно усиліе человѣка. Въ тотъ моментъ, когда щель, казалось бы, раскрылась, — уже другая завѣса въ видѣ слова или новой системы внезапно становится на мѣсто старой и снова заволакиваетъ глазъ.

Такъ тянется до безконечности. Слово приходитъ и слово уходитъ. Система восходитъ и система заходитъ. Древнее и вѣчное «не знаю» стоитъ непоколебимо, не измѣняясь и не уменьшаясь.

Выдача векселя или отмѣта долга въ книгѣ не есть еще уплата долга. Это значитъ лишь временно разгрузить память отъ ея ноши, но не больше. То же самое относится къ сознательно изрекаемому слову, т.-е., къ обозначенію имени, къ установленію порядковъ и предѣловъ для явленій и ихъ сочетаній. Слово само по себѣ еще не заключаетъ какого либо отвѣта на вопросъ о сущности вещей и явленій. Даже слово точнаго отвѣта на самомъ дѣлѣ есть только другой варіантъ самого вопроса. Вопросительный знакъ замѣняется восклицательнымъ, сокрывающее выраженіе является на мѣсто раскрывающаго. Если бъ мы хотѣли извлечь конечную суть всѣхъ словъ и системъ, то въ концѣ-концовъ, послѣ послѣдняго извлеченія мы получимъ только всеобъемлющее слово, состоящее изъ трехъ буквъ. Передъ нами снова страшное «что», за ко-

торымъ стоитъ нѣкій, еще болѣе страшный «иксъ» — «ничто». Но человѣкъ предпочитаетъ раскрошить свой долгъ на мелкія частицы, въ тщетной надеждѣ облегчить такимъ образомъ уплату долга. Когда надежда не сбывается, онъ замѣняетъ одно слово другимъ, одну систему другой, т.-е., онъ даетъ новый вексель вмѣсто стараго и отсрочиваетъ или разсрочиваетъ для себя время погашенія долга. Такъ или иначе — но долгъ никогда не взыскивается.

Слово или система низвергается, такимъ образомъ, съ высотъ своего величія и уступаетъ свое мѣсто другому, не потому что оно не обладаетъ больше достаточной силой освѣщать, цѣликомъ или частично уничтожить это вѣчное «не знаю», но какъ разъ наоборотъ: благодаря тому, что слово или система истерты отъ долгаго употребленія и трепанія, въ нихъ нѣтъ больше способности для полнаго сокрытія и заслоненія, и само собой нѣтъ въ нихъ больше временнаго отвлеченія вниманія. Человѣкъ на время заглядываетъ въ открывшуюся трещину, и къ своему великому страху онъ снова видитъ передъ собою ужасающій «хаосъ». Онъ спѣшитъ немедленно закрыть трещину новымъ словомъ, т.-е. онъ прибѣгаетъ къ испытанному имъ на прежнемъ словѣ средству, отвлекающему на время вниманіе, и онъ спасенъ отъ страха. И не удивляйтесь. Это средство помогаетъ вѣрящимъ въ него, ибо сама вѣра есть не что иное, какъ отвлеченіе вниманія.

Развѣ мы не встрѣчаемся съ подобнымъ явленіемъ и по отношенію къ самому человѣку?

Пока человѣкъ живетъ, стремится, движется и дѣйствуетъ, онъ какъ бы заполняетъ пространство.

Весь потокъ жизни, все ея содержаніе, это только постоянное стремленіе, безпрерывное усиліе къ отвлеченію вниманія. Каждое мгновеніе «погони за» есть въ то же время «бѣгство отъ». Послѣднее и только оно — все воздаяніе за первое.

Бѣгство — воздаяніе за погоню. Гоняясь за чѣмъ нибудь, человѣкъ ежеминутно находитъ временное удовлетвореніе не въ томъ, что онъ въ погонѣ настигаетъ, но въ томъ, что онъ отъ чего-то спасается. Это даетъ ему тѣнь успокоенія и временное чувство увѣренности. «Ибо тотъ, кто примѣнится ко всей жизни, у того есть увѣренность». Но вотъ человѣкъ умеръ, и пространство опустѣло. Нѣтъ ничего, что отвлекаетъ вниманіе, и завѣса исчезла. Все вдругъ становится непонятнымъ. Невѣдомое снова появляется передъ нами во всемъ ужасѣ своего величія и мы сидимъ передъ нимъ на землѣ, окутанные тьмой, скорбные и нѣмые, какъ камни. Но лишь

одно мгновеніе. Ибо ангелъ жизни преуготовилъ для насъ исцѣленіе раньше, чѣмъ поразить насъ: онъ тотчасъ же даетъ намъ новое средство, отвлекающее наше вниманіе и разсѣивающее нашъ страхъ. Еще прахъ не покрылъ мертвое тѣло, и опустѣвшее пространство снова оказывается замкнутымъ какимъ нибудь словомъ, — надгробной жалобы, утѣшенія, философіи или вѣры въ безсмертіе души и т. п. Самое опасное мгновеніе — какъ въ словѣ, такъ и въ жизни — это промежутокъ времени между однимъ сокрытіемъ и другимъ, когда хаосъ выглядываетъ изъ бездны. Но подобныя мгновенія не многочисленны и въ обычномъ теченіи языка и въ обычномъ ходѣ жизни. Люди большей частью перескакиваютъ черезъ эти мгновенія и не чувствуютъ ихъ. Господь хранитъ довѣрчивыхъ душой.

* * *

Изъ всего вышесказаннаго вытекаетъ то большое различіе, которое существуетъ между языкомъ прозаиковъ и языкомъ поэтовъ. Первые опираются на общее и сходное въ явленіяхъ и словахъ, — на устойчивое и установленное въ языкѣ, на общепринятый стиль — и поэтому они увѣренно совершаютъ свой путь въ мірѣ языка.

Кому они подобны? Тому, кто проходитъ черезъ рѣку по окаменѣвшему и какъ бы скованному изъ одного куска льду. Онъ въ правѣ и въ состояніи совершенно отвлечь свое вниманіе отъ скрытой пучины, клокочущей подъ его ногами. Другіе же, поэты, — чья область — намекъ, тайна, символъ, всегда охвачены стремленіемъ къ индивидуальному началу въ вещахъ, къ одинокому и единственному, къ тому, что превращаетъ явленія, — и соотвѣтствующія имъ сочетанія языка — въ единичное и вовѣки неповторяемое, стремленіемъ къ самобытной особенности и душѣ вещей, какъ онѣ въ опредѣленное мгновеніе запечатлѣлись въ душѣ тѣхъ, кто ихъ соверцаетъ. Послѣдніе поэты — вынуждены вслѣдствіе этого бѣжать отъ устойчиваго и застывшаго въ языкѣ, какъ противорѣчащаго ихъ цѣли, и искать того, что въ немъ постоянно живетъ и движется. При этомъ имъ самимъ приходится каждое мгновеніе вносить въ языкъ съ помощью ввѣренныхъ имъ ключей — безпрерывное движеніе, новыя сочетанія и соединенія. Слова трепещутъ подъ ихъ руками. Гаснутъ и зажигаются, заходятъ и восходятъ, какъ драгоцѣнный камень на священническомъ одѣяніи, опустошаются и снова наполняются, лишаются души и снова пріобрѣтаютъ душу.

Благодаря этому въ матеріалѣ языка происходитъ смѣна ролей и мѣстъ. Одинъ штрихъ, одна іота — и старыя слова озаряются новымъ свѣтомъ. Будничное освящается и священное становится будничнымъ. Подобныя опредѣленныя слова мгновеніе за мгновеніемъ освобождаются отъ своихъ оправъ и мѣняются другъ съ другомъ мѣстами. А въ промежуткѣ, незакрытомъ словами, зіяетъ бездна, и въ этомъ тайна великой силы языка поэзіи. Въ немъ искушеніе дерзанія, сладкій страхъ противостоянія испытанію. Кому подобны тѣ, которые пользуются этимъ языкомъ? Тому, кто проходитъ рѣку въ часъ ледохода, по плавающимъ и колеблющимся льдинамъ. Сохрани Богъ слишкомъ долго задержать свою ногу на одной льдинѣ, больше чѣмъ требуется для того, чтобы перескочить съ одной льдины на другую. Между льдинами глядитъ бездна, нога скользитъ — опасность близка. Но все же и тутъ есть такіе, которые благополучно достигаютъ другого берега. Не однихъ только довѣрчивыхъ душой хранитъ Господь.

Таковъ языкъ словъ. Но, кромѣ него, есть еще у Господа языкъ безъ словъ: пѣніе, плачъ, смѣхъ. И всѣхъ ихъ сподобилось глаголющее существо. Этотъ языкъ начинается тамъ, гдѣ кончается слово. Приходитъ онъ не для того, чтобы сокрывать, но для того, чтобы раскрывать. Онъ наростаетъ и поднимается изъ бездны. Онъ — восхожденіе самой бездны. Бываетъ, поэтому, что этотъ языкъ безъ словъ захлестываетъ и уноситъ насъ напоромъ своихъ волнъ и никто не въ силахъ противостоять ему, поэтому онъ приводитъ иногда человѣка къ безумію или даже къ гибели. Всякое твореніе духа, въ которомъ нѣтъ отголоска одного изъ видовъ этого языка, лишено подлинной жизни и существованію его нѣтъ оправданія.

---

★

Л. ЯФФЕ

# СТИХОТВОРЕНІЯ

★

I

## EREZ ISRAEL

Мой край, отрѣзанный морями
Кипящей крови и огня,
Въ моей душѣ горишь лучами
Неугасающаго дня.

Моя душа благоуханьемъ
Твоимъ всегда напоена
Съ тѣхъ поръ какъ Библіи дыханьемъ
Была обвѣяна она.

И гордый кедръ твой на Ливанѣ,
Твой каждый холмъ и каждый долъ
Мнѣ были ближе и желаннѣй
Страны, гдѣ юность я провелъ.

Тебѣ, страна моя родная,
Порывы юношескихъ силъ,
Въ восторгѣ творческомъ рыдая,
Я безраздѣльно приносилъ.

Тоской и радостью томимый
Къ мечтѣ далекой взоръ воздѣвъ,
Тебѣ, не женщинѣ любимой,
Сложилъ я первый свой напѣвъ.

Ты въ скорби вдовьей и священной,
Всегда печальна и свѣтла,
Въ моей душѣ устало — плѣнной,
Какъ мать — страдалица жила

Ты вновь цвѣла благоуханнѣй,
Ты вновь сіяла мнѣ свѣтлѣй
Въ зеленой и расцвѣтшей ткани
Твоихъ воскреснувшихъ полей.

И въ дни, когда война сурово
Испепеляющимъ перстомъ
Коснулась нашей нивы новой,
Прошла надъ нашимъ очагомъ,

Ты стала мнѣ еще дороже,
За каждый стебель твой дрожу,
Въ благоговѣйной страстной дрожи
Я имя свѣтлое твержу.

Москва, 1918.

II

## ВЪ ОМАРОВОЙ МЕЧЕТИ

Въ оградѣ храмовой затихли гулы дня.
Мы подошли къ священному порогу.
Мы, обувь снявъ, вошли. Молчаніе храня,
Намъ старый шейхъ показывалъ дорогу.

Ворвался день въ просвѣтъ узорнаго стекла,
Блеснулъ лампадъ неугасимый пламень.
Подъ круглымъ куполомъ гранитная скала, —
Алтарь нашъ древній, первозданный Камень.

Вѣковъ исчезнувшихъ открылась глубина.
На камнѣ стертый слѣдъ тысячелѣтій.
На нишахъ и окнѣ Корана письмена
Причудливо играютъ въ полусвѣтѣ.

Сюда въ былые дни лишь разъ въ году входилъ
Молясь за свой народъ Первосвященникъ.
Я здѣсь стою теперь безъ радости и силъ,
Чужихъ святынь и чуждой жизни плѣнникъ.

Въ больную душу свѣтъ развѣянныхъ временъ,
Какъ свѣтъ надгробный, куполъ льетъ узорный.
Въ мерцаніи лампадъ у мраморныхъ колоннъ
Перебираетъ четки дервишъ черный,

Недоумѣнный взоръ полузакрытыхъ глазъ
Покоится на гостѣ — иновѣрцѣ...
Бродили долго мы по храму... Въ этотъ часъ
Послѣдней кровью исходило сердце...

## III

# ВЪ ДОЛИНѢ САРОНА

Съ холма я вижу ширь Сарона
Луговъ сверкающій уборъ
И моря солнечное лоно,
И выси Іудейскихъ горъ.

Вокругъ — минувшаго обломки,
Безмолвье мрачное могилъ,
А рядомъ — радостны и громки
Расцвѣтъ и трепетъ новыхъ силъ.

Въ сіяньи утреннемъ деревни
Лучемъ пронизаны насквозь;
Здѣсь въ каждомъ камнѣ, въ глыбѣ древней
Съ былымъ грядущее слилось.

Поля, долины и курганы
Свой тяжкій сбрасываютъ плѣнъ...
Мой свѣтлый край, мой край желанный,
Вовѣки будь благословенъ!...

★

С. ДУБНОВЪ

# ВОСПОМИНАНІЯ ОБЪ АБРАМОВИЧѢ МЕНДЕЛЕ-МОХЕРЪ-СФОРИМЪ

★

# ВОСПОМИНАНІЯ ОБЪ АБРАМОВИЧѢ

## I

Онъ пришелъ въ міръ въ мрачныя времена царя Николая I и ушелъ въ первые дни большевистскаго переворота. Онъ былъ питомцемъ хедера и іешивы на Литвѣ въ тѣ годы, когда его сверстниковъ «ловили» и отправляли въ отряды малолѣтнихъ кантонистовъ. Онъ объѣзжалъ мѣстечки Волыни въ телѣгѣ Авремеле Хромого во времена «разрядовъ и «пойманниковъ», когда — по его выраженію — «битые били своихъ же, истерзанные терзали другъ друга». Онъ сталъ учителемъ казенной еврейской школы въ Каменецъ-Подольскѣ въ началѣ царствованія Александра II, когда и ему казалось, что въ учительской головѣ подъ казенной фуражкой кроется тайна спасенія русскаго еврея. Эпоху «гаскалы» онъ продѣлалъ въ Бердичевѣ и Житомирѣ, принимая дѣятельное участіе въ кипѣвшей кругомъ борьбѣ между просвѣщенными и обскурантами. Въ ассимилированной Одессѣ онъ пережилъ погромы и тяжкій гнетъ Александра III и Николая II, движеніе палестинофильства, сіонизма, націонализма, соціализма. Уже наполовину парализованный дожилъ онъ до февральской революціи 1917 года и почти безъ сознанія лежалъ въ октябрьскіе дни. Съ Абрамовичемъ отошло въ вѣчность столѣтіе нашей исторіи. Онъ покинулъ насъ на порогѣ совершенно новой исторической эпохи, имѣющей наступить послѣ нынѣшняго всемірнаго потопа.

Три поколѣнія прошли передъ его глазами, глубоко проникавшими въ души людей. Образы этихъ трехъ поколѣній отразились въ его произведеніяхъ, сдѣлавшихъ его подъ конецъ «дѣдушкою» еврейской литературы. Его талантъ, какъ извѣстно, выросъ въ послѣдній періодъ его литературной дѣятельности настолько, что онъ переработалъ заново большую часть своихъ раннихъ произведеній. Въ этотъ періодъ онъ создалъ свой собственный стиль

на двухъ языкахъ — національномъ и народномъ, свой методъ изображенія жизни, и не могъ уже признать дѣтьми своего духа произведенія, написанныя въ молодости подъ вліяніемъ окружающей среды. Каждый писатель долженъ въ первые годы своей дѣятельности сидѣть на чужихъ хлѣбахъ (auf Kost sitzen), питаться и кормить другихъ готовыми мыслями и облекать ихъ въ готовыя, допускаемыя литературною модою формы: но признакъ истиннаго писателя въ томъ, что онъ съ теченіемъ времени отходитъ отъ общепринятыхъ образцовъ, начинаетъ творить свое содержаніе и свой стиль, становится индивидуальнымъ и дѣлается самъ образцомъ для другихъ. Такое переходное время переживалъ С. М. Абрамовичъ въ 70-хъ и 80-хъ годахъ прошлаго вѣка, превращаясь въ самобытнаго Менделе Мохеръ-Сфоримъ.

Къ концу этой переходной эпохи въ творчествѣ С. М. Абрамовича, когда его талантъ поднялся до высоты лучшей эпопеи еврейской жизни — «Wünschfingerl», познакомился я съ нимъ. Тринадцать лѣтъ былъ я затѣмъ близокъ съ нимъ и видѣлъ, какъ въ старѣющемъ писателѣ изъ года въ годъ все сильнѣе разгорался огонь творчества, какъ углублялся его взглядъ на жизнь въ ея индивидуальныхъ и коллективныхъ проявленіяхъ. На немъ лишній разъ подтвердилась психологическая вѣрность изреченія Талмуда, что низшія натуры духовно дряхлѣютъ въ старости, а высшія крѣпнутъ. До послѣдняго года жизни 85-лѣтній старецъ сохранилъ крѣпость и ростъ духа.

То было поздней осенью 1890 года. Я только что переѣхалъ изъ Петербурга въ Одессу и находился еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ появившейся въ томъ году (въ «Библіотекѣ» Шаломъ-Алейхема) 2-й части «Wünschfingerl». За два мѣсяца до моего пріѣзда въ Одессу, я высказалъ свой взглядъ на это произведеніе въ очередномъ литературномъ обзорѣ «Восхода» («Народная и простонародная литература», кн. 9), гдѣ сравнивалъ замѣчательную эпопею Абрамовича по ея типу и стилю — смѣсь эпоса и лирики — съ «Мертвыми душами» Гоголя. Въ сѣрый ноябрьскій вечеръ я впервые посѣтилъ дотолѣ лично незнакомаго мнѣ Менделе. Изъ моей квартиры на томъ концѣ Базарной улицы, который примыкаетъ къ приморскому парку, я отправился на другой конецъ, гдѣ улица, перерѣзывая Старый Базаръ, уходитъ въ бѣдные кварталы, около «Толчка», и приближается къ Молдаванкѣ. Здѣсь, въ старомъ большомъ домѣ, рядомъ съ солдатскими казармами, занимала тогда цѣлый этажъ извѣстная реформированная Талмудъ-Тора, о которой пи-

салъ еще гуманистъ Пироговъ. Этажемъ выше была расположена квартира завѣдующаго этимъ училищемъ, Соломона Моисеевича Абрамовича. Эту должность Менделе занялъ лѣтъ за десять до моего пріѣзда и на первыхъ порахъ былъ счастливъ тѣмъ, что послѣ долгихъ лѣтъ матеріальной нужды въ Житомирѣ добился вѣрнаго куска хлѣба и возможности спокойно отдаваться литературному творчеству въ часы, свободные отъ педагогической дѣятельности.

Я вошелъ въ кабинетъ старообразной, съ невысокими потолками, квартиры. Высокій стройный человѣкъ, съ просѣдью въ небольшой бородкѣ и черной волнѣ волосъ на головѣ, встрѣтилъ меня привѣтливо, какъ стараго знакомаго. Началась оживленная бесѣда о литературѣ, политикѣ, Петербургѣ, Одессѣ, о его послѣдней незаконченной повѣсти и планѣ слѣдующихъ ея частей. Менделе любилъ говорить, но онъ рѣдко утомлялъ вдумчиваго собесѣдника, а, напротивъ, все болѣе увлекалъ его въ кругъ своихъ мыслей: такъ оригинальны, хотя часто и парадоксальны, были его мысли, выраженія манера доказывать. Все тутъ было свое, не заимствованное изъ ходячихъ бесѣдъ на модныя темы или изъ книгъ и газетъ, эти мысли и выраженія тутъ же творились въ процессѣ бесѣды, и напряженіе работающей мысли сказывалось при этомъ въ наморщенномъ лбу, въ глубоко ушедшемъ внутрь взглядѣ, въ жестикуляціи пальцами, какъ въ іешивѣ при объясненіи труднаго мѣста Талмуда. Мы оба не замѣтили, какъ бесѣда затянулась до поздняго вечера, и когда мы посмотрѣли на часы, мы оба разсмѣялись: мы просидѣли часовъ пять. «Вотъ — говоритъ Менделе — вы спѣшили домой (я сначала заявилъ, что пришелъ не надолго и не хочу ему мѣшать), нѣтъ, отъ меня такъ скоро не отдѣлываются, ничего, мы еще поговоримъ»... И онъ меня еще порядочно продержалъ въ передней, какъ будто ему нужно было кончить важное дѣло.

Поздно, около полуночи, возвращался я домой. Порошилъ первый снѣжокъ, осыпая бѣлыми пушинками гладкую мостовую пустынной улицы, и я думалъ о юномъ старикѣ, говорившемъ съ такимъ жаромъ, такъ умно и своеобразно, хотя и не все въ желательномъ мнѣ духѣ, — думалъ объ этомъ глубокомъ родникѣ думъ и образовъ, откуда вышли философія «Клячи», эпосъ «Фишки Хромого» и «Волшебнаго кольца».

С. М. Абрамовичу было тогда 55 лѣтъ, по оффиціальному счету въ его біографіи, написанной Л. Биншtокомъ къ его 25-лѣтнему

литературному юбилею въ 1885 г. Но у одесситовъ были большія сомнѣнія относительно точности этого счета: всѣ полагали, что «дѣдушка» на нѣсколько лѣтъ старше, чѣмъ это указано въ его литературной метрикѣ. Самъ Менделе не любилъ пускаться въ разсужденія на эту тему, въ силу какого-то предразсудка, мѣшающаго патріархальнымъ старцамъ открывать тайну своего возраста. Когда у него собирались гости въ годовщину его рожденія, 20 декабря, случалось, что кто нибудь изъ неопытныхъ гостей спрашивалъ его о лѣтахъ, — но «именинникъ» уклонялся отъ отвѣта, указывая на меня со словами: «не знаю; вотъ спросите историка: онъ обязанъ знать хронологію». И я, конечно, долженъ былъ исходить изъ оффиціальной даты 1835 года, — года рожденія Абрамовича, — со ссылкою на первоисточникъ, Бинштока, не подвергая его на мѣстѣ критическому разбору. Менделе не любилъ также, когда его въ тѣ годы, съ легкой руки Шаломъ-Алейхема, величали «дѣдушкою», такъ какъ и въ понятіи «литературный дѣдушка» заключался намекъ на старость. И дѣйствительно, онъ тогда и значительно позже былъ свѣжъ, бодръ и подвиженъ, часто бодрѣе, чѣмъ иные изъ его «внуковъ».

Скоро у насъ образовался маленькій литературный кружокъ. Первоначально туда вошли, кромѣ насъ двоихъ, старые одесскіе пріятели Менделе — Бенъ-Ами и Равницкій, а позже къ нему примкнули еще нѣкоторые писатели и представители интеллигенціи. Въ нашихъ собраніяхъ горячо дебатировались преимущественно литературные вопросы, а нерѣдко и высшія проблемы философіи и религіи. Но весною 1891 года насъ больше волновали политическія дѣла. Это было въ пасхальные дни рокового года, въ дни изгнанія евреевъ изъ Москвы и зловѣщихъ слуховъ о готовящихся еще правительственныхъ погромахъ, придуманныхъ Александромъ III и его сподвижниками какъ бы въ ознаменованіе десятилѣтія уличныхъ погромовъ 1881 года. Мы всѣ были охвачены чувствами скорби и возмущенія и въ горячихъ спорахъ доказывали каждый свой взглядъ на задачи политическаго момента: одинъ видѣлъ спасеніе въ усиленной колонизаціи Палестины, предпринятой тогда одесскимъ Палестинскимъ Обществомъ; другіе говорили объ урегулированіи эмиграціи въ Америку, принявшей вскорѣ грандіозные размѣры; третьи проектировали агитаціонную поѣздку по Европѣ съ цѣлью поднять западныхъ политическихъ дѣятелей противъ русскаго правительства (мое предложеніе). Одинъ только Менделе не становился на опредѣлен-

ную точку зрѣнія и каждый разъ высказывался «какъ Богъ на душу положитъ», по настроенію даннаго момента. Мнѣнія у него поэтому были довольно разнообразны, и часто онъ съ жаромъ доказывалъ явные парадоксы; но все было остроумно, оригинально и толкало собесѣдниковъ къ углубленію вопроса. Въ тѣ пасхальные дни мы ждали погрома и въ Одессѣ, и я помню, какъ во время прогулки Абрамовичъ какъ-то сказалъ мнѣ: у моей жены вещи уже запакованы въ сундукахъ на колесахъ, для быстрой эвакуаціи на случай нападенія.

Поэтически-грустное лѣто послѣдовало за той бурною весною. Я поселился въ нѣмецкой колоніи Люстдорфъ, на чудномъ берегу Чернаго моря, въ двухъ часахъ ѣзды отъ Одессы. Недалеко отъ меня поселился Шаломъ-Алейхемъ, который тогда вернулся въ Одессу изъ-за границы, куда «бѣжалъ» послѣ своего финансоваго банкротства въ Кіевѣ; онъ жилъ въ пригородной дачѣ на Большомъ Фонтанѣ, и по дорогѣ въ Люстдорфъ. Посреди лѣта къ намъ пріѣхалъ и С. Г. Фругъ, мой старый петербургскій пріятель, котораго полиція лишила права жительства въ столицѣ, и онъ все лѣто скитался между Одессою и Люстдорфомъ.* Рядомъ съ нами поселился Бенъ-Ами. «Дѣдушка» съ своимъ вѣрнымъ спутникомъ Равницкимъ нерѣдко наѣзжали къ намъ изъ города, забирая по пути «внука», Шаломъ-Алейхема. Трудно забыть то лѣто. Каждому изъ насъ было нелегко на душѣ: много было и личнаго, и общаго горя; но именно это и привязывало насъ другъ къ другу. Вотъ растянулись мы всѣ на бѣломъ пескѣ на берегу моря, часами смотримъ въ безбрежную морскую даль, уходящую на лучезарный Босфоръ, и бесѣдуемъ. Менделе особенно хорошо настроенъ, сыплетъ остротами, анекдотами, истинно-художественными разсказами о разныхъ встрѣчахъ въ жизни: о житомирскомъ кружкѣ учителей раввинскаго училища, о Цвейфелѣ, Готлоберѣ, Лернерѣ, Слонимскомъ, Сухоставерѣ, давая блестящія — большею частью сатирическія — характеристики каждаго. Вотъ ходимъ мы по скатамъ и обрывамъ высокаго берега, и Менделе въ нужныхъ мѣстахъ ловко лазитъ и дѣлаетъ своими длинными ногами прыжки не хуже любого изъ молодыхъ. Входимъ въ большой садъ съ виноградникомъ на окраинѣ нѣмецкой колоніи, прославленный «садъ Шульце», пьемъ чай и вино, ѣдимъ только что сорванный виноградъ и фрукты, — и бесѣда длится до вечернихъ сумерекъ.

---

* См. мои воспоминанія о Шаломъ-Алейхемѣ и Фругѣ въ «Еврейской Старинѣ» 1916 года.

Помню одну прекрасную лѣтнюю ночь послѣ такой прогулки, во дворѣ моей дачи. Мы всѣ сидѣли въ бесѣдкѣ, при свѣтѣ августовскихъ звѣздъ, и пѣли народныя пѣсни. Фругъ прелестно спѣлъ «хасидскую» пѣсню: «Wos wet sain, wen moschiach wet kumen» съ такими ужимками истаго хасида, что трудно было догадаться, что это — пародія «миснагида».

Di Boid wet sain fun Parmet, un di Röder fun ajei goifer, un di Baitsch wet sain Zizes zugebunden zu a Schoifer — разливалась полная тоски и блаженства пѣсенка въ ночной тишинѣ, надъ спящей колоніей, надъ ближними полями и огородами. Въ состояніе настоящаго экстаза привела насъ хасидская мелодія безъ словъ, спѣтая Бенъ-Ами. Всѣ подхватили этотъ сердце щемящій грустный мотивъ, хоромъ подтягивая пѣвцу, продѣлывая полагающіеся при этомъ выразительные жесты, закатывая глаза къ небу и пристукивая пальцами. И неслись звуки пѣсенъ восторженныхъ рыцарей хасидизма на часъ, — какъ бы вѣтромъ занесенные сюда изъ лѣсовъ и полей Волыни или Подоліи, и море что-то издали отвѣчало... Менделе потомъ сидѣлъ задумавшись: можетъ быть, ему вспомнились «буда» Авремеле, въ которой объѣзжалъ Волынь бѣдный мальчикъ изъ Копыля, миссія «гаскалы» и борьба съ хасидами въ Каменцѣ-Подольскомъ и Бердичевѣ... Больше четверти вѣка прошло со времени этого поэтическаго сна въ лѣтнюю ночь, и только послѣдніе два года вырвали изъ нашихъ рядовъ трехъ участниковъ нашего люстдорфскаго кружка: Шаломъ-Алейхема, Фруга, Абрамовича.

## II

Нашъ одесскій кружокъ съ Абрамовичемъ во главѣ собирался регулярно нѣсколько лѣтъ, между 1891 и 1897 годомъ. Гости кружка разъѣхались въ разныя стороны: Фругъ — въ Петербургъ, Шаломъ-Алейхемъ — въ Кіевъ, а въ Одессѣ осталось съ полдюжины «дѣйствительныхъ членовъ», къ которымъ по временамъ примыкали люди со стороны. Нашъ маленькій кружокъ былъ чисто-литературнымъ, безпартійнымъ, и въ этомъ заключалось отличіе его отъ «массонскаго» кружка Ахадъ-Гаама — «Бне-Моше», одновременно существовавшаго въ Одессѣ. Тамъ участвовали палестинцы, «Ховеве Ціонъ», принявшіе лозунгъ Ахадъ-Гаама: безъ духовнаго возрожденія націи не можетъ быть возрожденія земли.

«Бне-Моше» (или «di roite jüdlach», какъ шутливо называлъ ихъ Менделе, намекая на названіе кружка и рыжіе волосы нѣкоторыхъ выдающихся его членовъ) собирались еженедѣльно по пятницамъ вечеромъ въ квартирѣ своего лидера, допуская въ свою среду и постороннихъ, еще непосвященныхъ. Наши же собирались въ субботніе вечера. Кажется, одинъ Равницкій бывалъ въ обоихъ кружкахъ регулярно, и Менделе въ шутку называлъ его «соглядатаемъ съ того берега Самбатіона». Сначала мы большею частью собирались въ новой, обширной и свѣтлой квартирѣ Абрамовича, отведенной завѣдующему во вновь выстроенномъ большомъ домѣ на Дегтярной улицѣ; но потомъ мы стали собираться поочередно и въ квартирахъ другихъ участниковъ — у меня, Бенъ-Ами, покойнаго славнаго доктора Михельсона. Сверхъ субботнихъ собраній бывали еще чрезвычайныя встрѣчи: на семейныхъ вечерахъ, въ праздничные дни и въ вечеръ на гражданскій новый годъ. Разговорнымъ языкомъ въ кружкѣ былъ, какъ водится въ Одессѣ, русскій, разумѣется — съ большою примѣсью еврейскихъ «Wörtlech». Русская рѣчь Менделе не была свободна отъ ошибокъ, но мы это мало замѣчали: до того была она богата оригинальными выраженіями, живой образностью, и часто пересыпалась блестками народной нашей рѣчи.

Если среди насъ былъ человѣкъ, стоявшій внѣ какихъ бы то ни было партій или программъ, то это былъ Менделе. Онъ былъ безпартійнымъ не по внѣшнимъ причинамъ, или потому, что не умѣщался въ рамкахъ существующихъ партій, а потому что онъ по природѣ не могъ быть человѣкомъ опредѣленнаго идейнаго направленія въ вопросахъ общественныхъ, не могъ признавать какую-либо программу обязательною или какую-нибудь систему принциповъ окончательно установленною. Онъ былъ по природѣ «дикимъ» въ смыслѣ соціальномъ и политическомъ: въ этой области у него были настроенія, симпатіи и антипатіи, но не твердые принципы, а настроенія у него часто мѣнялись въ зависимости отъ личныхъ, субъективныхъ впечатлѣній, напримѣръ отъ взгляда на личности представителей той или другой партіи. Онъ не любилъ слишкомъ модныхъ и шумныхъ политическихъ движеній, ибо чѣмъ больше приверженцевъ имѣло данное движеніе, тѣмъ чаще онъ имѣлъ возможность наблюдать *въ лицахъ* смѣшныя или отрицательныя его стороны, вырожденіе идеи въ примкнувшихъ къ ней малосознательныхъ людяхъ, а онъ, какъ художникъ быта, въ своей оцѣнкѣ исходилъ отъ лицъ къ идеямъ, а не наоборотъ. Такъ, онъ не

примкнулъ къ оффиціальному палестинофильству («сіонизма» до 1897 г. еще не было), которое имѣло въ Одессѣ свой органъ — палестинскій комитетъ, хотя очень сочувствовалъ идеѣ колонизаціи Палестины и лично высоко цѣнилъ одного изъ вождей партіи, д-ра Пинскера. Старый «маскилъ» изъ житомирскаго кружка раввинскаго училища, другъ юности М. Г. Моргулиса, Абрамовичъ однако не входилъ въ то общество ассимилированныхъ или ассимиляторовъ, у которыхъ высшимъ авторитетомъ былъ гуманистъ Моргулисъ, пріятный учитель, не требовавшій отъ своихъ адептовъ никакихъ обязательствъ по отношенію къ націи, кромѣ одного: теоретически признавать превосходство іудаизма и его этики. Менделе не любилъ ассимиляціи (по крайней мѣрѣ, въ одесскій періодъ его жизни), но бороться съ нею вмѣстѣ съ націоналистами, хотя бы въ области школы и культуры, онъ не считалъ необходимымъ, ибо не признавалъ опредѣленной положительной системы націонализма, ни политическаго, ни культурноавтономистскаго. Онъ былъ и свободомыслящимъ, и религіознымъ: придавалъ важное значеніе главнымъ обрядамъ, особенно публичнымъ (въ качествѣ завѣдующаго Талмудъ-Торой онъ и оффиціально долженъ былъ соблюдать субботу, праздники, кошеръ и т. п.), и относился терпимо къ вольнодумству въ области догматической. Однако, и здѣсь терпимость его простиралась до извѣстной границы, и онъ не могъ переносить ни задорнаго отрицанія основъ вѣры, ни слишкомъ крайнихъ выводовъ библейской критики, насколько это проявлялось въ конкретной формѣ (объ этомъ будетъ разсказано дальше). Тутъ онъ былъ твердъ, или точнѣе — становился все тверже по мѣрѣ приближенія къ глубокой старости. Во всѣхъ же другихъ областяхъ онъ былъ поистинѣ «свободнымъ художникомъ» въ творчествѣ воззрѣній. Я не разъ говорилъ ему лично и въ присутствіи другихъ: вы, какъ художникъ, конкурируете съ Богомъ, который, по агадической легендѣ, забавляется тѣмъ, что строитъ міры и разрушаетъ ихъ для перестройки: вы строите міросозерцаніе и затѣмъ разрушаете его. Часто было наслажденіемъ бесѣдовать съ Менделе наединѣ или въ маленькомъ кружкѣ: такъ онъ углублялъ мысль даже своими отступленіями отъ темы и парадоксами; но въ собраніи, гдѣ идеологическія пренія должны привести къ принятію опредѣленнаго тезиса или рѣшенія, онъ могъ только мѣшать, какъ воплощеніе антитезиса, и самъ онъ избѣгалъ такихъ собраній.

Въ наши субботніе вечера Абрамовичъ часто читалъ намъ от-

рывки изъ своихъ только что написанныхъ произведеній. Въ ту пору онъ пересталъ писать для печати на разговорномъ языкѣ и вернулся къ древне-еврейскому, точнѣе — къ созданію новаго гебраистскаго стила. Причина была случайная: Шаломъ-Алейхемъ, лишившійся своихъ прежнихъ финансовыхъ рессурсовъ, прекратилъ изданіе «Volksbibliothek», и «дѣдушкѣ» негдѣ было печатать продолженіе своего «Волшебнаго кольца». Порядочныхъ издателей для книгъ на родномъ языкѣ тогда еще не было (потомъ появились издательства «Ахіасафъ» и другіе для книгъ на древне-еврейскомъ языкѣ), и Менделе забросилъ свою лучшую и крупнѣйшую повѣсть, сколько я его ни убѣждалъ, чтобы онъ продолжалъ работу для будущаго. Онъ обыкновенно писалъ, когда редакторъ или издатель подталкивалъ, требуя разсказа для сборника или журнала. Въ то время членъ нашего кружка Равницкій издавалъ весьма приличный литературный сборникъ «Пардесъ», и Менделе обязательно долженъ былъ давать для каждаго тома одинъ или два разсказа. Затѣмъ онъ еще писалъ для ежегодныхъ альманаховъ «Ахіасафа» въ Варшавѣ. При мнѣ написаны были и почти цѣликомъ прочитаны намъ авторомъ въ рукописи разсказы изъ современной жизни: «Byemei haraasch», «Byeschiwa schel mata», вступленіе къ «Bajamim hahem». Въ нихъ нашли отзвукъ горячія пренія, которыя велись въ субботнихъ собраніяхъ нашего кружка о палестинофильствѣ, американской эмиграціи, объ оцѣнкѣ эпохи «гаскалы» и т. п. Изображая «бурные дни» новаго національнаго движенія, Менделе мѣтко охарактеризовалъ свое положеніе между борющимися партіями одной фразой: «и столкнулись въ нутрѣ моемъ два Менделе». Это идеологическое «wajisrozazu», колебаніе между различными общественными теченіями или отрицаніе всѣхъ — было характерно для художника, но это только дало ему возможность подмѣтить въ названныхъ разсказахъ слабыя стороны всѣхъ теченій.

Въ 1896 г. Менделе началъ переводить свое «Волшебное кольцо» на древне-еврейскій языкъ (подъ заглавіемъ «Beemek habacha») для журнала «Гашилоахъ», который тогда сталъ издавать Ахадъ-Гаамъ. Это былъ не простой переводъ, а новая художественная переработка съ обновленнымъ содержаніемъ и чудесно воскрешенными формами національнаго языка. Авторъ подолгу сидѣлъ надъ каждою строкою, и рукопись, которую онъ мнѣ читалъ почти при каждомъ посѣщеніи, была испещрена помарками и поправками. Когда кончился печатный «жаргонный» текстъ и нужно было пи-

сать дальнѣйшія главы прямо по древне-еврейски, авторъ облегчалъ себѣ работу слѣдующимъ пріемомъ: каждую часть повѣсти онъ писалъ сначала на разговорномъ языкѣ, а затѣмъ переводилъ на древній. «Такъ мнѣ легче — говорилъ онъ: творить содержаніе, бытовыя картины на языкѣ этого быта, а потомъ уже готовые образы рядить въ классическій національный костюмъ» (не ручаюсь за точность выраженій, но мысль была такова). Характеренъ еще случай, переданный мнѣ кѣмъ-то изъ литературныхъ «внуковъ» Менделе. Входитъ этотъ «внукъ» къ «дѣдушкѣ» и, заставъ его за письменнымъ столомъ, спрашиваетъ: что вы пишете, дѣдушка? — «Я не пишу, а только отгоняю мухъ» — отвѣчаетъ Менделе. — Что это значитъ? — «Видите-ли, — говоритъ Менделе, — когда я пишу по древне-еврейски, на меня нападаютъ всѣ библейскіе пророки и поэты — Іешая, Іеремія, авторы Пѣсни Пѣсней и псалмовъ, и каждый предлагаетъ взять для даннаго выраженія готовый «посукъ», готовую фразу, именно у него. Чтобы написать что-либо не по готовому шаблону, я долженъ раньше отогнать всѣхъ этихъ мухъ». Чтобы освободиться отъ тисковъ «мелицы», въ которую пуристы втискивали живую современную мысль, Абрамовичъ привлекъ въ свою лабораторію богатый матеріалъ позднѣйшихъ діалектовъ Мишны и Мидраша, и все-таки находилъ болѣе естественнымъ изображать современный бытъ на живомъ языкѣ этого быта.

Обновленный національный языкъ ожилъ подъ перомъ Менделе еще потому, что онъ приспособилъ его къ стилю народнаго языка русскихъ евреевъ. Но для пониманія и оцѣнки красотъ новаго менделевскаго стиля необходимо, чтобы самъ читатель былъ знакомъ съ тѣми источниками средневѣковой нашей письменности, откуда нашъ художникъ черпалъ свои богатства. Это — языкъ духовной аристократіи, знатоковъ еврейской литературы всѣхъ вѣковъ и всѣхъ діалектовъ. Я нѣсколько разъ развивалъ эту мысль въ бесѣдахъ съ старымъ другомъ и говорилъ, что очень скоро придется издавать его книги съ глоссаріемъ, для объясненія архаическихъ выраженій, какъ издаются произведенія Шекспира и Рабле, или съ комментаріями, какими у насъ сопровождаются тексты Іегуды Галеви и Ибнъ-Эзры. Будущія поколѣнія, не прошедшія черезъ хедеръ и талмудическую школу, не поймутъ тѣхъ спеціальныхъ оборотовъ рѣчи, которые насъ, знакомыхъ съ ихъ источниками, приводятъ въ восторгъ. Менделе этого не отрицалъ, и при этомъ намъ обоимъ становилось безконечно грустно...

Сколько вечеровъ просиживалъ я съ Менделе за чтеніемъ этихъ только-что написанныхъ главъ «Долины плача» и обсужденіемъ прочитаннаго... Вотъ надвигаются уже вечернія сумерки. Я кончаю свою работу и направляюсь по Успенской улицѣ, къ зданію Талмудъ-Торы. Вхожу. Мнѣ открываетъ дверь жена или одна изъ дочерей покойнаго (не помню, чтобы въ этой семьѣ была прислуга). Тихо и скучно въ большихъ комнатахъ квартиры завѣдующаго училищемъ, и гдѣ-то въ дальней комнатѣ сидитъ Менделе, согбенный надъ своей рукописью. Едва поздоровавшись, онъ часто радостно восклицаетъ: «А я предчувствовалъ, что вы придете! Хотѣлось поговорить съ вами. Знаете, о чемъ я сейчасъ думалъ»?... И начинается длинный разговоръ обо всемъ. Видно, что молчащему цѣлый день въ пустыхъ покояхъ хочется наговориться, свалить грузъ мыслей, вѣчно роившихся въ этой удивительной головѣ, увѣнчанной серебряной короной волосъ. Затѣмъ идетъ чтеніе главъ, написанныхъ со времени нашего послѣдняго свиданія. Менделе, надвинувъ очки на лобъ, подноситъ къ близорукимъ глазамъ большой листъ бумаги, густо исписанный его мелкимъ бисернымъ почеркомъ, и читаетъ. Показывая мнѣ листъ дешевой бумаги, онъ съ улыбкою говоритъ: «На этомъ листѣ помѣстится цѣлый разсказъ, который мнѣ обходится въ грошъ — стоимость листа бумаги въ сосѣдней лавочкѣ». Однако испещренный поправками чериовикъ потомъ переписывался на новомъ листѣ, съ весьма существенными передѣлками. Читаетъ Менделе мастерски, отмѣчая всѣ изгибы текста. Въ лирическихъ мѣстахъ, особенно въ описаніяхъ природы и тихой поэзіи «мѣстечка», въ голосѣ его слышится тоска, какъ бы плачъ о юныхъ годахъ, о быломъ патріархальномъ мірѣ. Вотъ читаетъ онъ мнѣ такой, напримѣръ, лирическій отрывокъ (беру наугадъ пару фразъ изъ первой главы второй книги «Beemek habacha»): «Тихо-тихо въ лѣсу въ первые дни селихотъ, какъ въ Кабцанскѣ въ субботу послѣ обѣда, когда всѣ предаются дневному сну, и тишина эта наводитъ глубокое уныніе. Деревья стоятъ задумчивыя, озабоченныя. Шевелятъ вѣтвями, какъ будто руки ломаютъ; въ ихъ шелестѣ — горькій плачъ, вздохъ, стонъ любящей матери, покидаемой дѣтьми, одинокой»... И мнѣ чудится, будто въ нашей комнатѣ слышенъ этотъ унылый шумъ лѣса ранней осенью, занесенный откуда-то изъ окаймленнаго лѣсами мѣстечка, и я внемлю чтенію грустныхъ селихотъ въ семьѣ деревьевъ. У самого Менделе чтеніе такихъ лирическихъ отрывковъ выходило, какъ декламація селихотъ на дорогихъ далекихъ могилахъ.

Не разъ говорилъ онъ мнѣ: «Я тоже историкъ, но въ другомъ стилѣ. Когда вы дойдете до исторіи 19-го вѣка, вамъ придется пользоваться моими сочиненіями для изложенія бытовой исторіи тогдашнихъ поколѣній».

Часто разсказывалъ онъ мнѣ эпизоды изъ своей личной жизни: о тѣхъ годахъ юности, когда онъ учился въ виленской іешивѣ Рамайлесъ и зимою спалъ тамъ, за недостаткомъ скамей, на холодномъ подоконникѣ; о времени, проведенномъ въ Каменцѣ съ Готлоберомъ, въ кругу «казенныхъ» учителей и франтовъ-акцизниковъ изъ мѣстной откупной конторы барона Гинцбурга. Не могу забыть его разсказа объ острой нуждѣ, которую онъ испытывалъ въ Житомирѣ въ послѣдніе годы предъ отъѣздомъ въ Одессу (1879—80 г.): «Расходы были большіе; семья — семь душъ; дохода съ моихъ изданій не хватало даже на квартирную плату; виленскіе и варшавскіе книгопродавцы меня грабили: тайно перепечатывали мои «Таксу», «Клячу», «Klein Mendchele», воровскимъ способомъ продавали другъ другу стереотипы моихъ книгъ. Я дошелъ до того, что не былъ обезпеченъ обѣдомъ на завтрашній день и ужиномъ на сегодняшній. Въ то бѣдственное время выручилъ меня баронъ Горацій Гинцбургъ, знавшій меня въ молодости еще изъ Каменца. Отъ петербургскихъ друзей онъ узналъ о моей нуждѣ и сталъ высылать мнѣ опредѣленную ежемѣсячную сумму (кажется до ста рублей)».

Менделе любилъ вспоминать о своей поѣздкѣ въ Петербургъ въ тѣ годы, когда среди еврейской ассимилированной интеллигенціи пробудился интересъ къ народу и были основаны еженедѣльники «Разсвѣтъ», «Русскій еврей» и журналъ «Восходъ». Первые его приняли какъ родного въ семью литературной аристократіи, какою тогда считалась группа евреевъ, причастныхъ къ русской литературѣ. Самъ Абрамовичъ тогда и еще долго спустя ставилъ очень высоко миссію еврейской литературы на русскомъ языкѣ и радовался, когда его переводили на русскій языкъ. Къ писателямъ-гебраистамъ въ Петербургѣ онъ относился холодно. Онъ разсказалъ мнѣ, между прочимъ, о своей встрѣчѣ съ поэтомъ Л. Гордономъ. Абрамовичъ былъ почему-то лично недоволенъ Гордономъ, какъ секретаремъ Общества просвѣщенія евреевъ. «Однажды — говоритъ онъ — хожу съ знакомыми по Петербургу и встрѣчаю Гордона. Насъ тутъ же представили другъ другу. Онъ бросился обнимать меня, но я выставилъ обѣ руки впередъ, какъ бы отстраняя его, и потомъ холодно подалъ ему руку. Онъ сму-

тился, поблѣднѣлъ... Послѣ я сожалѣлъ объ этомъ пріемѣ». Надо сказать, что слишкомъ субъективная, пристрастная оцѣнка людей была однимъ изъ главныхъ недостатковъ Абрамовича. Онъ умѣлъ слишкомъ ненавидѣть на основаніи ничтожнѣйшихъ личныхъ мотивовъ, и въ разговорахъ съ пріятелями часто изливалъ свой гнѣвъ на многихъ людей, близкихъ и дальнихъ. Я иногда упрекалъ его за такое отношеніе къ людямъ, въ которыхъ вообще ему всегда бросались въ глаза отрицательныя, а не положительныя черты. Отсюда — его рѣзкое отношеніе къ большинству крупнѣйшихъ еврейскихъ писателей изъ современниковъ.

Но Менделе былъ строгъ и къ самому себѣ, къ собственнымъ произведеніямъ. Свои работы онъ непрестанно «шлифовалъ», передѣлывая ихъ каждый разъ при перепечаткахъ или переводѣ съ одного еврейскаго языка на другой. Онъ никогда не былъ доволенъ тѣмъ, что написано имъ въ былые годы, и многіе его разсказы въ передѣлкѣ имѣютъ мало общаго съ первоначальнымъ текстомъ. Это свидѣтельствовало о непрерывномъ ростѣ большого, сильнаго ума, умѣющаго критиковать себя въ предыдущихъ фазисахъ развитія. Въ этой непрерывной жаждѣ совершенствованія — признакъ истиннаго творчества.

## III

1897 годъ — критическій годъ въ исторіи нашей общественности — внесъ свѣжую струю въ жизнь нашихъ одесскихъ кружковъ. Миновало глухое, унылое время. Зашевелилось, зашумѣло все кругомъ. Новые сіонисты, герцлисты, только-что принявшіе Тору съ базельскаго Синая, старые палестинцы, культурные сіонисты изъ послѣдователей Ахадъ-Гаама, національсты, полные или частичные ассимиляторы изъ гнѣзда мѣстнаго Общества просвѣщенія, — все это сплелось въ одинъ клубокъ, который съ оглушительнымъ шумомъ катился по еврейской улицѣ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Когда я возвратился изъ своей заграничной поѣздки, осенью 1897 года, нашъ одесскій кружокъ преобразился: мы учредили новый кружокъ, подъ именемъ «Историко-литературная Комиссія» при мѣстномъ Обществѣ просвѣщенія евреевъ. Общество просвѣщенія не было, конечно, вывѣскою нашей идеологіи, но просто щитомъ противъ полицейскихъ стѣсненій, чтобы мы могли сами

свободно собираться подъ покровомъ легальнаго учрежденія и кое-когда созывать большія собранія для докладовъ и лекцій. Въ составъ «комиссіи» вошли: представитель Общества просвѣщенія М. Г. Моргулисъ и его вѣрный оруженосецъ въ еврейскихъ дѣлахъ Л. Я. Сакеръ (недавно умершій въ Петербургѣ), С. М. Абрамовичъ, Ахадъ-Гаамъ и я. Люди различныхъ направленій, и среди нихъ одинъ безъ всякаго направленія, — Менделе, разумѣется, — мы собирались для дискуссіи по основнымъ проблемамъ еврейства, въ надеждѣ такимъ путемъ найти какой-нибудь общій путь и создать базисъ для объединенной національной работы. Въ теченіе трехъ-четырехъ лѣтъ (до 1901 г.) собирались мы въ опредѣленные вечера, разъ въ недѣлю или двѣ, въ помѣщеніи комитета Общества просвѣщенія, въ богатой квартирѣ его предсѣдателя Г. Э. Вейнштейна на Надеждинской улицѣ, а потомъ на Николаевскомъ бульварѣ. Тутъ уже были у насъ правильныя засѣданія, съ предсѣдателемъ (Моргулисъ), секретаремъ и составителемъ протоколовъ (Сакеръ), съ систематическими преніями, — вообще съ опредѣленною дисциплиною, которая сберегала много времени, но крайне стѣсняла нашего «дикаго» Менделе.

Предметами нашего обсужденія были преимущественно вопросы дня: политическій и духовный сіонизмъ, націонализмъ и автономизмъ, культурное возрожденіе, проблема іудаизма. Каждый развивалъ свою систему, освѣщалъ обсуждаемый вопросъ съ своей точки зрѣнія. Моргулисъ развивалъ свою туманную теорію о космополитическомъ естествѣ еврейской національной идеи, о нашей іудаистической или этической миссіи, а Сакеръ перелагалъ его слова на болѣе ясный языкъ европейской философіи и соціологіи; я излагалъ основы той еще новой тогда системы автономизма и «національныхъ правъ», которую въ тѣ годы началъ разрабатывать въ «письмахъ о еврействѣ»; Ахадъ-Гаамъ больше занимался критикою чужихъ взглядовъ, чѣмъ изложеніемъ своихъ, и путемъ тонкаго анализа ставилъ противника въ необходимость подойти ближе къ идеѣ духовнаго сіонизма. Только одинъ Менделе отвергая всѣ мнѣнія, высказанныя въ данномъ засѣданіи, каждый разъ выдвигалъ какую-нибудь новую, тутъ же придуманную, теорію. Вотъ сидитъ онъ, подперевъ рукою голову, и какъ-будто внимательно прислушивается къ преніямъ, но мы знаемъ, что слушаетъ онъ очень мало изъ того, что кругомъ говорятъ, а въ его головѣ зрѣетъ какая-нибудь новая теорія или красивый парадоксъ. Вотъ очередь доходитъ до него. Онъ начинаетъ гово-

рить не по существу вопроса, а беретъ одинъ какой-нибудь пунктъ его, одну мысль изъ всѣхъ высказанныхъ, иногда второстепенную, и разбираетъ ее, глубоко раскапываетъ, раскрываетъ въ ней совершенно новыя стороны, углубляетъ ее, — а когда онъ кончаетъ, оказывается, что онъ увелъ насъ далеко отъ предмета дискуссіи. Ему замѣчаютъ это, но онъ не понимаетъ упрека: онъ иначе не можетъ, не можетъ идти въ упряжь; онъ идетъ своимъ путемъ поэта, «туда, куда влечетъ его свободный умъ».

Бывали и курьезы. Открывается засѣданіе, секретарь читаетъ протоколъ предыдущаго засѣданія, гдѣ подробно и обыкновенно точно излагались наши пренія. Каждый подтверждаетъ запись или вноситъ въ нее небольшія поправки. Абрамовичъ же заявляетъ, что онъ вовсе не сказалъ того, что записано. Секретарь протестуетъ, другіе подтверждаютъ вѣрность протокола, а онъ, прижатый къ стѣнѣ, восклицаетъ: развѣ я обязанъ помнить все, что я сказалъ въ прошломъ засѣданіи?... И въ самомъ дѣлѣ, можно-ли запомнить импровизацію, когда на смѣну имѣется уже новая? — Иногда доходило до рѣзкихъ пререканій. Своими парадоксами Менделе тормозилъ ходъ дискуссіи, и ему доставалось отъ насъ. Потомъ онъ жаловался мнѣ: на какого чорта намъ эта комиссія съ преніями и протоколами? Куда лучше было, когда мы собирались въ нашемъ субботнемъ домашнемъ кружкѣ и говорили по душѣ о чемъ хотѣлось. Намъ только портятъ тамъ «семейное согласіе» (Men macht uns on a beis Leben), — прибавлялъ онъ, обращаясь къ моей женѣ и указывая на меня, какъ на соучастника преступленія.

Нейтральная позиція Абрамовича стала особенно тяжела послѣ того, когда идейная объединительная цѣль Литературной Комиссіи не была достигнута и наши пренія вынесены были на публичную арену, въ многолюдныхъ общихъ собраніяхъ Общества просвѣщенія, гдѣ съ 1900 года страстно дебатировался вопросъ о національномъ воспитаніи. Здѣсь, на конкретной почвѣ школьной реформы, столкнулись націоналисты съ полу-ассимиляторами изъ комитета Общества просвѣщенія. Первые требовали усиленія еврейскаго элемента въ программѣ народныхъ школъ, а комитетчики стояли на утилитарной точкѣ зрѣнія и тѣмъ поддерживали руссификаторскую тенденцію правительства въ еврейской школѣ. Въ городѣ образовался (нелегально, разумѣется) «Комитетъ націонализаціи» для борьбы съ ассимиляціей во всѣхъ учрежденіяхъ. Въ комитетъ вошли, кромѣ меня и Ахадъ-Гаама, еще много об-

щественныхъ дѣятелей и писателей (Дизенгофъ, Левинскій, Бяликъ, Равницкій, С. Пэнъ, д-ръ Ландесманъ и др.); «просвѣщенцы» организовались подъ руководствомъ Моргулиса, а нашъ Менделе остался ни въ сихъ, ни въ оныхъ. Къ нашей національной оппозиціи онъ не могъ примкнуть частію вслѣдствіе своего оффиціальнаго положенія завѣдующаго Талмудъ-Торой, находившейся подъ полицейскимъ надзоромъ начальства учебнаго округа, насквозь пропитаннаго руссификаторствомъ, — а нашъ Менделе сильно боялся начальства. Пристать же къ партіи Моргулиса и одесскихъ «гвировъ» онъ не хотѣлъ. И его нейтралитетъ обрекалъ его на идейное одиночество. Въ такіе дни онъ изливалъ свою досаду на всѣхъ. Помню тяжелую сцену. Сидитъ онъ въ яркій весенній день въ моемъ кабинетѣ, въ загородномъ Стурдзовскомъ переулкѣ; мы пьемъ кофе и бесѣдуемъ о послѣдней стычкѣ партій въ какомъ-то собраніи. Я ставлю ему вопросъ, — вѣроятно, не впервые: какъ можетъ онъ не примкнуть къ числу борцовъ противъ опасности ассимиляціи молодого поколѣнія? Я, можетъ быть, при этомъ употребилъ нѣсколько рѣзкое выраженіе. Менделе разсердился. Взволнованный, поднялся онъ съ мѣста, чашка кофе дрожала въ его рукѣ, и онъ воскликнулъ: «Значитъ, я плохой еврей, потому что не числюсь среди націоналистовъ! Нѣтъ, вы всѣ — евреи съ ярлыками: націоналисты, сіонисты, палестинцы, а я просто еврей (glat a Jüd), но изъ такихъ простыхъ евреевъ состоитъ весь народъ». Что могъ я сказать обиженному другу? Конечно, Менделе органически лучшій, болѣе подлинный еврей, чѣмъ мы всѣ; но въ національно-политической борьбѣ интеллигенціи онъ по своей натурѣ обреченъ стоять въ сторонѣ: онъ служитъ націи своимъ литературнымъ творчествомъ, и этого достаточно.

Здѣсь нужно замѣтить, что вопросъ о языкѣ школы — тогда еще не обострившійся въ такой степени, какъ послѣ 1905 года — мало занималъ Абрамовича. Онъ немногаго ожидалъ отъ модныхъ тогда образцовыхъ хедеровъ, питомниковъ маленькихъ гебраистовъ, и подшучивалъ надъ попытками сдѣлать древне-еврейскій языкъ разговорнымъ. Но и «идишъ» не представлялся ему въ школѣ важнымъ факторомъ воспитанія. Принципъ обученія на родномъ языкѣ былъ тогда только «мессіанской теоріей», ибо при царскомъ режимѣ, еще до конституціи, о преподаваніи на жаргонѣ въ нормальной школѣ не молго быть и рѣчи. Если-бы Абрамовичу суждено было дожить до полной автономіи еврейской школы, то онъ несомнѣнно стоялъ бы за «идишъ», какъ за языкъ преподаванія

въ начальной школѣ, но при гарантіи основательнаго изученія государственнаго языка, которому онъ придавалъ большое значеніе. Что же касается школьной программы, то онъ настаивалъ бы на изученіи древне-еврейскаго языка, Библіи и религіозныхъ основъ іудаизма, при гарантіи хорошей постановки преподаванія общеобразовательныхъ предметовъ.

Библія была для него святыней. Онъ допускалъ нѣкоторыя умѣренныя гипотезы библейской критики, и самъ часто дѣлился со мною своими оригинальными толкованіями библейскаго текста, близкими къ воззрѣніямъ критической школы. Но допуская библейскую критику, какъ источникъ остроумныхъ догадокъ, о которыхъ можно вести частную бесѣду, онъ въ ужасѣ отступалъ передъ ея рѣшительными выводами, проповѣдуемыми публично. Особенно возмущалъ его выводъ о миѳическомъ элементѣ въ личности Моисея. Былъ такой случай. Весною 1903 года Ахадъ-Гаамъ читалъ въ еврейскомъ клубѣ «Бесѣда» рефератъ о Моисеѣ. Онъ ясно развилъ ту мысль, что намъ вовсе не важно знать, существовалъ ли Моисей или нѣтъ, потому что реальный Моисей есть именно тотъ, который живетъ въ народной легендѣ, въ умахъ сотенъ поколѣній, какъ дѣйственная историческая сила; тотъ же Моисей, который создается въ лабораторіяхъ ученыхъ критиковъ, есть реальность лишь для небольшой группы археологовъ, изслѣдователей, но не является реальнымъ народнымъ героемъ, движущей силой націи. Послѣ реферата, во время перерыва, я подошелъ къ Менделе и увидѣлъ его задумчиво сидящимъ гдѣ-то въ углу большого зала, по которому шумно двигалась публика. Я спросилъ его, что онъ думаетъ о рефератѣ. Онъ взглянулъ на меня и сердито сказалъ: «Въ Торѣ сказано, что мѣсто погребенія Моисея никому неизвѣстно, а я сейчасъ открылъ это мѣсто: Моисей только что похороненъ въ клубѣ «Бесѣда» руками Ахадъ-Гаама». Только оскорбленное религіозное чувство могло продиктовать эти суровыя слова. Я старался ему доказать, что онъ не вникъ въ основную мысль доклада, что референтъ, напротивъ, провозгласилъ традиціоннаго Моисея реальностью, какъ живой образъ, сотканный съ народнымъ сознаніемъ, и что это во всякомъ случаѣ важный коррективъ къ крайнимъ выводамъ библейской критики. Но Менделе и слушать не хотѣлъ: онъ не допускалъ даже условнаго сомнѣнія въ подлинности библейскаго Моисея, какъ личности, жившей въ дѣйствительности, а не только въ народныхъ представленіяхъ, и видѣлъ въ подобныхъ разсужденіяхъ подкопъ подъ дорогую ему святыню.

И тѣмъ не менѣе, при всѣхъ разногласіяхъ, мы были сильно привязаны другъ къ другу. Въ послѣдній годъ передъ моимъ переселеніемъ изъ Одессы на сѣверъ, мы обыкновенно встрѣчались уже не въ кружкахъ или засѣданіяхъ, а за письменнымъ столомъ въ нашихъ кабинетахъ. Бывало, долго не вижу старика, хочу его посѣтить, но досуга нѣтъ: вѣдь зайдешь къ нему, — онъ раньше чѣмъ черезъ три-четыре часа не отпуститъ. И все-таки я при первой возможности иду изъ моего приморскаго уголка, мимо тихихъ виллъ, на Успенскую, туда, гдѣ эта улица, поворачивая на Дегтярную, упирается въ гущу еврейскихъ кварталовъ. Вотъ трехэтажное зданіе Талмудъ-Торы, господствующее надъ сосѣдними невысокими домами. Вхожу въ пустынный дворъ, поднимаюсь въ верхній этажъ, прохожу анфиладу большихъ комнатъ и застаю Менделе гдѣ-то въ уголку, часто за столикомъ въ спальнѣ, отдѣленной занавѣсомъ отъ кабинета. Онъ морщитъ высокій лобъ и пишетъ, пишетъ... «Ахъ, какъ хорошо, — привѣтствуетъ онъ меня. Вотъ сядемте тутъ возлѣ печки, какъ добрые іешиботники, и давайте говорить... И тянется длинная бесѣда обо всемъ, продолженіе нашей 12-лѣтней бесѣды, какъ будто-бы не прерывавшейся. Не обходилось, конечно, и безъ чтенія отрывковъ изъ рукописи. Въ то время Менделе писалъ свою автобіографическую повѣсть — «Schlojmo reb-Chaims», одно изъ лучшихъ его произведеній. До сихъ поръ чувствую еще обаяніе тѣхъ чтеній: незабвенные образы еврейской деревенской семьи, мѣстечка въ осенніе «страшные дни», кухни въ вечеръ съ четверга на пятницу, хедерныхъ мальчиковъ, которые еще не выѣзжали за черту родного мѣстечка, но уже побывали съ своимъ «ребе» въ Арамъ-Нагараимъ, Мицраимъ и Ханаанѣ и знаютъ, что дѣлалось три тысячи лѣтъ тому назадъ... Прислушиваюсь къ вѣчной мелодіи «мѣстечка», звучащей въ нашей литературѣ отъ «дѣдушки» до «внука», Шалома Аша, къ этой дивной музыкѣ, чарующей и бодрящей, открывающей просвѣтъ въ душу поколѣній, вводящей въ живую легенду вѣковъ... Кончается долгая бесѣда. Я прощаюсь и выхожу въ переднюю. Менделе провожаетъ и еще продолжаетъ разговоръ, держа меня «за пуговицу» (это уже былъ техническій терминъ для такихъ заключительныхъ бесѣдъ). Въ лѣтнее время онъ, бывало, выходитъ со мною, провожаетъ меня полпути, не прерывая разговора, затѣмъ я его немного провожаю, и такъ мы иногда шатаемся до полуночи.

Трудна была наша разлука лѣтомъ 1903 года, спустя два мѣсяца послѣ кишиневскаго погрома, когда я изъ теплой Одессы пе-

реселился на «сѣверъ далекій, угрюмый, холодный, но сердцу родной». Глубокая грусть звучала въ рѣчи стараго друга, на прощальномъ банкетѣ, устроенномъ мнѣ друзьями предъ отъѣздомъ въ залѣ Симона. Менделе напомнилъ о субботнихъ вечерахъ въ нашемъ маленькомъ кружкѣ, объ уютномъ литературномъ уголкѣ, который мы создали въ Одессѣ... Я чувствовалъ, что стою на межѣ ушедшей полосы жизни, въ которой Менделе игралъ немаловажную роль.

Еще два раза видѣлся я съ Абрамовичемъ: въ концѣ 1909 и 1913 г., когда я проводилъ пару недѣль въ Одессѣ. При первомъ свиданіи «дѣдушка» находился еще всецѣло подъ впечатлѣніемъ своего тріумфальнаго лѣтняго путешествія по городамъ Литвы и Польши, гдѣ его повсюду шумно чествовали. Въ послѣдній разъ мы возобновили старыя бесѣды въ декабрьскіе дни 1913 года. На время какъ будто воскресло былое. Былъ шумный хануковскій литературно-музыкальный вечеръ, гдѣ сошлось много старыхъ друзей. Еще разъ собрались мы въ вечеръ 20 декабря на квартирѣ дѣдушки-именинника, выглядѣвшаго еще совсѣмъ бодрымъ, несмотря на свои 80 лѣтъ. Еще одинъ банкетъ въ честь гостя состоялся въ залѣ Симона, гдѣ собралась вся литературная семья старой и новой Одессы. Я сидѣлъ за столомъ между Абрамовичемъ и Фругомъ, и надъ нами какъ будто витала тѣнь чарующей лѣтней ночи въ Люстдорфѣ 1891 года... Въ началѣ января 1914 г. мы простились — навѣки. Черезъ полгода начался всемірный потопъ — міровая война. Первымъ ушелъ изъ міра товарищъ юныхъ лѣтъ, Фругъ, а подъ конецъ Менделе, съ которымъ связанъ одесскій періодъ моей жизни.

Съ каждымъ уходящимъ въ вѣчность другомъ уходитъ часть нашей собственной жизни. Надъ этими обломками жизни мы ставимъ по пути памятники, въ формѣ воспоминаній. Такой надгробный памятникъ я ставлю теперь здѣсь, къ тридцатому дню кончины незабвеннаго друга*.

---

* Эти воспоминанія были написаны по еврейски въ концѣ перваго траурнаго мѣсяца послѣ смерти Абрамовича, но не были опубликованы. Составляя ихъ теперь, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, для сборника «Сафрутъ», я внесъ въ нихъ нѣкоторыя дополненія. — *Авторъ.*

---

★

С. МАРШАКЪ

# ІЕРУСАЛИМЪ

★

## ІЕРУСАЛИМЪ

По горной царственной дорогѣ
Вхожу въ родной Іерусалимъ
И на святомъ его порогѣ
Стою смущенъ и недвижимъ.

Меня встрѣчаетъ гулъ знакомый
На площадяхъ обычный торгъ
Ведетъ толпа. Она здѣсь дома
И чуждъ ей путника восторгъ.

Шумятъ открытыя харчевни,
Звучатъ напѣвы чуждыхъ странъ,
Идетъ, качаясь, въ городъ древній
За караваномъ караванъ.

Но пусть видѣнья жизни бренной
Закрыли прошлое, какъ дымъ, —
Тысячелѣтья неизмѣнны
Твои холмы, Іерусалимъ!

И будутъ склоны и долины
Хранить здѣсь память старины,
Когда послѣднія руины
Падутъ, вѣками сметены.

Во всѣ вѣка, въ любой одеждѣ
Родной, святой Іерусалимъ
Пребудетъ тотъ же, что и прежде, —
Какъ твердь небесная надъ нимъ!

---

★

Х. ТАДИРЪ

# МЕССІЯ—ОТСТУПНИКЪ

## КЪ ИСТОРІИ САББАТІАНСКАГО ДВИЖЕНІЯ

★

# МЕССІЯ—ОТСТУПНИКЪ

## КЪ ИСТОРІИ САББАТІАНСКАГО ДВИЖЕНІЯ

### I

...Чѣмъ объяснить отступничество Саббатая-Цеви? Какъ это случилось, что тотъ, кто считалъ себя избавителемъ Израиля, Божьимъ помазанникомъ и предвѣстникомъ вселенскаго переворота, склонилъ свою голову передъ придворнымъ муфтіемъ, надѣлъ на нее турецкій тюрбанъ и принялъ имя Магомета?

Вопросъ о переходѣ смирнепскаго лжемессіи въ исламъ, широко использованномъ его противниками для внушенія народнымъ массамъ отвращенія къ его памяти*, комментировался въ свое время самими саббатіанцами на разные лады. Большинство сторонниковъ Саббатая-Цеви изъ простонародія долгое время, какъ извѣстно, отказывались вѣрить въ подлинность этого факта. Спасая свою вѣру отъ опасности окончательнаго крушенія, балканскіе саббатіанцы внушили себѣ представленіе, что въ адріанопольскомъ дворцѣ произошло исключительное по своему значенію чудо: отъ Саббатая-Цеви отдѣлилась тѣнь, которая совершила обрядъ перехода, самъ же Мессія незамѣтно исчезъ изъ дворца и былъ вознесенъ на небо**. Болѣе раціоналистически настроенные изъ массовыхъ поклонниковъ Саббатая-Цеви допускали, правда, возможность его формальнаго отреченія отъ еврейства, но усматривали въ этомъ реально-политическія соображенія: такъ-какъ Саббатай-Цеви долженъ былъ вскорѣ стать властителемъ возстановленной Іудеи, то

* Характерно, что и понынѣ во многихъ мѣстностяхъ «черты», особенно же на югѣ, ханжу и лицемѣра евреи именуютъ «Schabbsezwinik'омъ».

** См. Давида Кагана: «Toldot hamekubalim, haschabteiim w'hachassidim» Одесса, 1913. Стр. 76.

онъ сознательно и намѣренно принялъ мусульманство, дабы получить такимъ путемъ доступъ въ султанскій дворецъ и государственныя учрежденія, и научиться тамъ искусству государственнаго управленія.

Ближайшіе же ученики и «оруженосцы» Саббатая-Цеви никогда, повидимому, и не пытались отрицать фактъ его отступничества. Съ другой стороны, они были слишкомъ уже погружены въ свои каббалистическія видѣнія, чтобы они могли себѣ объяснить столь исключительное явленіе въ жизни Мессіи какими-либо земными, чисто утилитарными соображеніями. Воспитанные на луріанско-виталевскомъ мистицизмѣ, они должны были найти соотвѣтствующее мистическое объясненіе загадочному поступку своего повелителя. Такое объясненіе они и нашли, и дали ему въ цѣломъ рядѣ своихъ посланій весьма широкое распространеніе.

Витавшій въ теченіе столѣтій передъ воображеніемъ еврейскаго народа образъ Мессіи въ видѣ «нищаго, ѣдущаго верхомъ на ослѣ», получилъ въ устахъ апостоловъ саббатіанства своеобразное толкованіе. Такъ, Натанъ Азати, игравшій столь выдающуюся роль въ саббатіанскомъ движеніи, объявилъ въ самой категорической формѣ, что слово «нищій» слѣдуетъ тутъ понимать не въ его буквальномъ, а въ переносномъ смыслѣ: Мессія долженъ, по его мнѣнію, находиться нѣкоторое время въ состояніи *духовнаго* нищаго; онъ не можетъ выполнить своей миссіи, пока онъ не проживетъ нѣкоторый періодъ времени въ полномъ воздержаніи отъ добрыхъ дѣяній— «mizwot». Во имя такого, свыше предписаннаго, воздержанія Саббатай-Цеви и перешелъ въ исламъ. На помощь Натану Азати пришло и имѣющееся въ «Зогарѣ» представленіе, по которому Мессія долженъ быть «прекраснымъ внутри и некрасивымъ извнѣ». Понятіе «извнѣ» слѣдуетъ отнести, по мнѣнію Натана, въ первую голову, къ одеждѣ, а отсюда уже прямое указаніе на тотъ турецкій тюрбанъ, который Саббатай-Цеви надѣлъ на голову въ присутствіи султана. Это свое убѣжденіе въ томъ, что Мессія обязательно долженъ пробыть нѣкоторое время въ атмосферѣ религіозной «скверны», Натанъ Азати подкрѣплялъ ссылкой на Эсѳирь, которая сподобилась стать

избавительницей Израиля лишь послѣ того, какъ она прошла черезъ нечисть гарема персидскаго царя. Въ другомъ мѣстѣ, газскій пророкъ, оставшійся вѣрнымъ своему «владыкѣ» до самой кончины послѣдняго, значительно углубляетъ свой взглядъ на значеніе отреченія Саббатая-Цеви и подводитъ подъ этотъ взглядъ болѣе прочный философско-мистическій фундаментъ. Такъ какъ элементы добра и зла, святости и порока, недостаточно отдѣлены другъ отъ друга въ земной жизни, а спасеніе міра можетъ наступить лишь послѣ полнаго отдѣленія однихъ элементовъ отъ другихъ, то на Мессіи лежитъ долгъ — погрузиться въ глубины «скверны» и порока, и извлечь оттуда тѣ отдѣльныя *искры* («nizozoth») добра и святости, которыя тамъ заключены и жаждутъ избавленія*. Саббатай-Цеви, такимъ образомъ, не капитулировалъ передъ земными властями своимъ формальнымъ отреченіемъ отъ еврейства. Само отреченіе есть славный подвигъ Божьяго помазанника. Подобно своимъ праотцамъ — Аврааму, женившемуся на Агари, Іакову, женившемуся на дочеряхъ иноплеменника — Лавана, и Моисею, взявшему себѣ въ жены дочь иновѣрнаго жреца Іитро — онъ отправился въ побѣдоносный походъ противъ міра зла и скверны, насильственно заключившаго въ свои нѣдра отдѣльныя искры святости, нынѣ скорбящей и томящейся по избавленіи.

Наряду съ этимъ, многіе изъ усердныхъ сторонниковъ Саббатая-Цеви вѣрили, что пребываніе въ лонѣ мусульманской церкви есть высшая мѣра земныхъ страданій, предопредѣленная Мессіи Провидѣніемъ. Надо думать, что этотъ взглядъ на значеніе отступничества Саббатая-Цеви былъ особенно популяренъ среди многочисленныхъ въ XVII вѣкѣ на всемъ Ближнемъ Востокѣ марранов, бѣжавшихъ изъ Испаніи и Португаліи, а также изъ ватиканскихъ областей Италіи. Воспитанные на догмахъ и представленіяхъ католической церкви, они и послѣ своего возвращенія въ еврейство безсознательно тяготѣли къ извѣстнымъ — особенно, художественно-

---

* См. Jnjenei Schabtai—Z'wi, изд. о-ва «Mekizei Nirdamin», Берлинъ, 14 г. Стр. 59—60, а также объясненіе Баруха бенъ-Гершона Марици, со словъ Натана Азати, въ «Sikaron libnei Jisrael», стр. 58.

поэтическимъ — элементамъ ихъ прежняго воспитанія, тѣмъ болѣе, что среди нихъ насчитывалось много такихъ, которые *родились* уже въ христіанствѣ. Среди этихъ именно элементовъ, которымъ не могло быть чуждо представленіе о «страстяхъ Господнихъ», культъ страждущаго Мессіи долженъ былъ найти для себя особенно благопріятную почву. Въ средѣ марранновъ, какъ позволяютъ думать нѣкоторые изъ дошедшихъ до насъ историческихъ документовъ, и упрочилась увѣренность въ томъ, что пребываніе въ мусульманствѣ, дѣлающее Саббатая-Цеви мишенью для жестокихъ нападокъ, презрѣнія и издѣвательства — и является тѣми «страстями мессіанскими», о которыхъ говорится въ священныхъ книгахъ и которыя, съ другой стороны, столь близко напоминаютъ страданія Христа. Одинъ изъ наиболѣе выдающихся представителей вернувшихся въ еврейство марранновъ, каббалистъ Авраамъ-Михаилъ Кордозо, такъ далеко зашелъ въ этомъ толкованіи поступка Саббатая-Цеви, что въ своемъ знаменитомъ посланіи, получившемъ широкое распространеніе во всемъ еврейскомъ разсѣяніи, онъ позволилъ себѣ развить взглядъ, по которому исходъ изъ изгнанія будетъ невозможенъ, пока *всѣ евреи* не будутъ насильственно обращены въ чужую вѣру, пока они не начнутъ вопіять къ небу изъ глубины своего позора и моральнаго униженія*...

Таковы, въ общихъ чертахъ, тѣ объясненія, которыя давались сторонниками Саббатая-Цеви, поскольку мы можемъ судить о нихъ по немногимъ, дошедшимъ до насъ, документамъ. Что же касается до его противниковъ, или до тѣхъ саббатіанцевъ, которые успѣли во-время отрезвиться отъ своего мессіанскаго опьяненія съ тѣмъ, чтобы направить свои мстительныя стрѣлы противъ того, кто привелъ ихъ къ столь горькому разочарованію, то большинство изъ нихъ объясняло отреченіе Саббатая-Цеви низменностью его натуры. Они увѣряли, что у смирненскаго «самозванца» съ самаго начала не было другихъ цѣлей, кромѣ совращенія еврейства съ истиннаго пути, что онъ сознательно пользовался легковѣріемъ народа въ сво-

* См. статью «Od letoldot Schabtai—Zewi» въ сборникѣ статей С. Гурвича «Meaiin u'leaiin», Берлинъ, 1914. Стр. 275—277.

ихъ личныхъ, корыстныхъ интересахъ, и что въ тотъ моментъ, когда ему стала угрожать прямая опасность со стороны турецкихъ властей, онъ, безъ всякихъ душевныхъ мукъ и колебаній, рѣшилъ спасти свою жизнь и благополучіе отреченіемъ отъ еврейства, нисколько не заботясь о судьбѣ тѣхъ сотенъ тысячъ евреевъ, которыхъ онъ прежде заставлялъ слѣпо слѣдовать за собою. Нашлись среди антисаббатіанцевъ и такіе, которые, возвышаясь до большей объективности, пытались оправдать его поступокъ ссылкой на Маймонида, указавшемъ въ своей «іеменитской грамотѣ» на то, что обязанность жертвовать своей жизнью «въ освященіе имени Божьяго» при попыткѣ насильственнаго обращенія въ чужую вѣру не распространяется на исламъ, монотеистическія представленія котораго сближаютъ его съ іудаизмомъ. Одинъ лишь Яковъ Эмденъ, который, при всей своей самоотверженной борьбѣ за искорененіе остатковъ саббатіантства въ нѣмецкихъ и западно-славянскихъ земляхъ, все же обнаружилъ извѣстное безпристрастіе въ оцѣнкѣ стимуловъ мессіанскаго движенія, склонялся къ мысли, что Саббатай-Цеви рѣшился на переходъ въ исламъ лишь послѣ того, какъ лейбъ-медикъ султана Дидонъ указалъ ему на опасность, грозящую всему турецкому еврейству, если онъ не искупитъ своей вины передъ султаномъ принятіемъ господствующей религіи*. Эти намеки Якова Эмдена были, однако, столь слабо выражены (можетъ быть, изъ чрезвычайной осторожности, къ которой онъ былъ вынужденъ его знаменитой борьбой съ заподозрѣннымъ въ саббатіанствѣ Іонатаномъ Эйбешютцемъ?), что еврейскіе историки новаго времени, изучавшіе исторію саббатіанскаго движенія, главнымъ образомъ, по его книгѣ «Torat hakanaaut», почти не останавливаются на этомъ толкованіи отступничества Саббатая-Цеви. Такъ, по изложенію Гретца получается, что Саббатай-Цеви принялъ рѣшеніе о переходѣ въ исламъ послѣ того, какъ упомянутый Дидонъ объявилъ ему, что, въ случаѣ упорства, «къ его тѣлу привяжутъ горящіе факелы, его будутъ волочить по улицамъ и бичевать розгами», причемъ авторъ оставляетъ открытымъ вопросъ о томъ, «переживалъ ли Саббатай-Цеви внутрен-

* См. «Torat bacanaaut». Стр. 18—19, 26—30.

нюю борьбу прежде, чѣмъ онъ рѣшилъ послѣдовать совѣту ренегата-врача»*. Съ такимъ же, приблизительно, отношеніемъ къ Саббатаю-Цеви мы встрѣчаемся и у Дубнова: «Дидонъ такъ застращалъ его предстоящими пытками и позорною казнью, что тотъ совершенно растерялся. *Инстинктъ самосохраненія* подсказалъ мнимому Мессіи, что нужно рѣшиться на переходъ въ исламъ**.

## II

Какъ казуистическія объясненія учениковъ Саббатая-Цеви, такъ и тѣ упрощенныя объясненія, которыя давались его противниками и которыя, слѣдуетъ признать, подчинили своему вліянію и еврейскихъ историковъ новаго времени, представляются намъ, однако, мало состоятельными.

Не останавливаясь на тѣхъ представленіяхъ, которыя сложились у широкой толпы саббатіанцевъ, упорно не желавшей допускать мысль о паденіи своего героя, и переходя къ толкованіямъ наиболѣе близкихъ учениковъ и сподвижниковъ Саббатая-Цеви — Натана Азати и А.-М. Кордозо — къ которымъ, повидимому, склоняется и современный апологетъ «лжемессіи», С. Гурвичъ***, у насъ не можетъ не возникнуть пѣлаго ряда весьма существенныхъ сомнѣній, значительно ослабляющихъ убѣдительность этихъ толкованій. Дѣло въ томъ, что за всю свою жизнь, до самаго момента отреченія отъ еврейства, Саббатай-Цеви ни разу не намекнулъ даже на возможность перехода въ исламъ или въ иную вѣру ради избавленія порабощенныхъ въ «скверне» искръ святости (nizozot hakeduschah). Ни Натанъ Азати, ни Кордозо въ своихъ разъяснительныхъ по этому поводу посланіяхъ не подкрѣпляютъ своихъ утвержденій ссылками на слова самого Саббатая-Цеви, несмотря на то, что такого рода ссылки могли бы оказаться очень полезными для той миссіи «обо-

---

* Цитирую по еврейскому изданію Гретца, т. 8-й. Стр. 260.

** См. «Всеобщая исторія евреевъ». Книга III. Петербургъ 1906. Стр. 179.

*** См. его «Ketaïm l'toldot Schabtai — Z'wi» въ упомянутомъ сборникѣ его статей, стр. 263.

дренія смятенныхъ сердецъ», которую они взяли на себя тотчасъ послѣ того, какъ стало извѣстнымъ все происшедшее въ адріанопольскомъ дворцѣ. Переходъ «короля Іудеи» въ мусульманство былъ, повидимому, полной неожиданностью для ближайшихъ его соратниковъ, а также, надо думать, и для его предателя Нееміи Когана, къ которому онъ относился съ исключительнымъ довѣріемъ. Если бы онъ посвятилъ пріѣхавшаго къ нему на поклоненіе и разочаровавшагося въ немъ польскаго каббалиста въ свое намѣреніе обратиться въ исламъ для спасенія «искръ», то послѣдній или дѣйствительно увѣровалъ бы въ его мессіанское призваніе*, или же, рѣшившись разоблачить «самозванца» и предать его въ руки властей, сообщилъ бы султану и объ этомъ намѣреніи Саббатая-Цеви для того, чтобы пресѣчь въ корнѣ его преступный замыселъ и предохранить еврейство отъ новыхъ разочарованій. То обстоятельство, что Саббатай-Цеви *впослѣдствіи,* черезъ нѣкоторое время *послѣ* «обращенія», намекалъ на свою миссію спасенія «искръ», не мѣняетъ положенія вопроса: впослѣдствіи ослабѣвшій «гипнотизеръ» могъ самъ стать жертвой внушенія со стороны собственныхъ учениковъ...

Съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что если бы у Саббатая-Цеви дѣйствительно было предварительное намѣреніе перейти временно въ исламъ для цѣлей, приписываемыхъ ему его учениками, то онъ это сдѣлалъ бы нѣсколько раньше и добровольно, не дожидаясь созданія такой обстановки, въ которой его переходъ могъ быть истолкованъ, какъ трусливая уступка угрозамъ и насилію. Кромѣ того, всѣ его приготовленія къ свиданію съ султаномъ — какъ дѣлежъ земли и коронъ среди 26 его послѣдователей передъ послѣднимъ отъѣздомъ изъ Смирны, — и все его поведеніе за время пребыванія въ галлипольской крѣпости** свидѣтельствуютъ о томъ,

---

* Тѣмъ болѣе, что самъ Неемія Когенъ, искренность котораго не вызываетъ никакихъ сомнѣній, счелъ для себя возможнымъ принять временно мусульманство въ интересахъ спасенія еврейства.

** Интересныя подробности, характеризующія повышенно бодрое и оптимистическое состояніе духа Саббатая-Цеви въ послѣдніе дни его пребыванія въ галлипольской крѣпости, приведены въ упомянутой уже книгѣ Давида Кагана, стр. 95.

что онъ смотрѣлъ на это свиданіе, какъ на моментъ тріумфальнаго завершенія своей миссіи, и ужъ, во всякомъ случаѣ, не какъ на новый и тягчайшій этапъ по пути своей миссіи.

Еще менѣе убѣдительнымъ представляется то упрощенное толкованіе со стороны явныхъ и мстительныхъ противниковъ Саббатая-Цеви, которое сводится къ «низменности его натуры». Лживая и корыстолюбивая въ какомъ-либо отношеніи натура не могла бы никоимъ образомъ вызвать столь грандіознаго по своимъ размѣрамъ движенія, какое вызвалъ смирненскій «самозванецъ» на всемъ обширномъ пространствѣ тогдашняго еврейскаго разсѣянія — отъ Газы и Іерусалима до Гамбурга, Амстердама и Венеціи. Стоитъ только вспомнить полный глубочайшаго благоговѣнія актъ миропомазанія Саббатая-Цеви, который имѣлъ мѣсто въ газской синагогѣ, энтузіазмъ всей еврейской общины при провозглашеніи его Мессіей въ Смирнѣ, тѣ гимны и молитвы, которые распѣвались въ его честь по субботамъ почти во всѣхъ европейскихъ синагогахъ, ту волну паломничества, которая катилась изъ самыхъ отдаленныхъ угловъ трехъ материковъ къ абидосскому замку во время его заточенія, чтобы понять всю непримѣнимость такой оцѣнки по отношенію къ Саббатаю-Цеви. Единственный «талантъ», которымъ обладалъ Саббатай-Цеви — это именно его искренность и глубокая вѣра въ свое призваніе. И если десятки тысячъ евреевъ съ неподдѣльнымъ увлеченіемъ превращали, по его приказанію, освященные вѣками еврейскіе посты въ дни пиршествъ и плясокъ; если сотни тысячъ евреевъ молились на него, распродавали свое имущество, готовились къ скорому переселенію въ Палестину; если сотни честнѣйшихъ раввиновъ, ученыхъ, каббалистовъ и руководителей общинъ искренно видѣли въ немъ ниспосланнаго избавителя — то, помимо своеобразныхъ запросовъ и новыхъ жизненныхъ стимуловъ, которыми жило поколѣніе той трагической эпохи, это можно объяснить упомянутымъ «талантомъ» Саббатая-Цеви. «Толпа» нуждалась въ своемъ «героѣ», въ центральной личности, въ которой отразились бы, какъ въ фокусѣ, всѣ ея исканія и роковыя дерзновенія, и отъ «героя» она требовала болѣе всего искренности и вѣры. Если бы Саббатай-

Цеви не соотвѣтствовалъ этой глубокой и вѣками обострявшейся потребности — если бы онъ былъ лишенъ той искренности и вѣры, того безпрерывно молитвеннаго состоянія, котораго сотни тысячъ евреевъ ждали отъ своего героя — то, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что еврейство выдвинуло бы въ ту эпоху, рядомъ съ «самозванцемъ» своего «истиннаго» Мессію. Поскольку въ еврействѣ были сильны тогда мессіанскія вожделѣнія, они всецѣло удовлетворялись Саббатаемъ-Цеви, и никому даже въ голову не могло придти о томъ, чтобы оспаривать его мессіанскія права въ свою пользу. Тотъ фактъ, что въ эпоху столь глубокихъ потрясеній и незаглушимой потребности въ живомъ Мессіи наряду съ Саббатаемъ-Цеви никто не выдвигалъ себя, что никто, слѣдовательно, не могъ бы утолять тоску и жажду еврейства въ такой степени, въ какой утолялъ ихъ Саббатай-Цеви, — этотъ фактъ является наиболѣе краснорѣчивымъ доказательствомъ его глубокой вѣры въ свою миссію. Въ такія эпохи ничто такъ не плодитъ самозванства, какъ наличность перваго самозванца. Отсутствіе соперниковъ у Саббатая-Цеви убѣдительнѣе всего свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ не былъ «самозванцемъ», что *субъективно* онъ и былъ подлиннымъ, Божьей милостью, Мессіей...

Отступничество Саббатая-Цеви приходится объяснять однимъ изъ тѣхъ «внезапныхъ» кризисовъ, которые часто наблюдаются въ жизни особенно экстатическихъ, эмоціонально взвинченныхъ натуръ. Надо думать, что его переходъ въ исламъ явился полной неожиданностью не только для его многочисленныхъ послѣдователей, но и для него самого. Весьма возможно, что за какіе-нибудь полчаса до того, какъ онъ предсталъ передъ султаномъ, или до его предварительной бесѣды съ лейбъ-медикомъ Дидономъ, онъ счелъ бы еще для себя абсолютно невозможнымъ тотъ роковой шагъ, который онъ совершилъ со столь жутко-молчаливой рѣшительностью.

Несомнѣнно, что въ жизни Саббатая-Цеви произошла тутъ одна изъ тѣхъ «неожиданностей», которыя дремлютъ въ зачаточномъ состояніи за порогомъ сознанія въ теченіе многихъ лѣтъ, какъ бы ожидая соотвѣтствующихъ условій для своего внѣшне-катастрофиче-

скаго, но фактически давно подготовлявшагося рожденія. Стоя въ адріанопольскомъ дворцѣ передъ султаномъ и его свитой, онъ оказался во власти одной изъ тѣхъ мыслей, которыя наносятъ молніеносно быстрые, покорительные удары въ неподготовленный мозгъ и заставляютъ его принимать рѣшенія, не имѣющія видимой причинной связи съ предыдущей работой сознанія, но, тѣмъ не менѣе, обезоруживающія своей внутренней убѣдительностью. Такого рода «стихійныя» рѣшенія рождаются или въ минуты кульминаціоннаго повышенія вѣры въ мощь своего собственнаго «я», или же въ минуты полнаго крушенія лучшихъ надеждъ и упованій. Въ томъ и другомъ случаѣ — какъ въ минуты высочайшаго подъема, такъ и въ минуты глубочайшаго паденія — рождаются лишь тѣ «безумныя» рѣшенія, которыя имѣютъ свою глубокую внутреннюю логику.

Такая глубокая внутренняя логика заключалась и въ роковомъ рѣшеніи Саббатая-Цеви. То героическое устремленіе къ созданію новаго міра, которое выдѣляетъ его фигуру въ еврейской исторической галлереѣ послѣднихъ вѣковъ, заключало въ себѣ съ самаго начала зачатіе такого рѣшенія. Ибо мессіанизмъ Саббатая-Цеви, въ которомъ проявлялось столь мощное *утвержденіе* еврейства, таилъ въ себѣ одновременно и не менѣе рѣшительное его *отрицаніе*. Его мессіанизмъ былъ бунтомъ той непокорной воли, которая не пріемлетъ уже серединной плоскости, для которой существуетъ лишь или вожделѣнная вершина, или демонически влекущая пропасть. Абсолютное непріятіе голуса во всѣхъ его проявленіяхъ, отказъ отъ пассивнаго выжиданія, жестоковыйное нежеланіе мириться съ обрекающей на прозябаніе еврейской дѣйствительностью — таковы были психологическіе моменты, изъ которыхъ слагалось мессіанское движеніе, таковы были и пружины, двигавшія Саббатаемъ-Цеви. Онъ заявилъ голусу свое абсолютное «не пріемлю», онъ вызвалъ рокъ на состязаніе, и въ этомъ вызовѣ уже заключалась готовность никогда болѣе не возвращаться къ прежнему состоянію: онъ долженъ очутиться *надъ* рокомъ или *подъ* рокомъ, но онъ больше не желаетъ стоять *передъ лицомъ* рока. Голусъ долженъ быть преодолѣнъ полнымъ освобожденіемъ еврейства или же

полнымъ его уничтоженіемъ — таково было неосознанное, но глубоко коренившееся стремленіе Саббатая-Цеви, таково было его незыблемое внутреннее рѣшеніе.

И этимъ именно рѣшеніемъ — независимо отъ того, жило ли оно въ немъ въ качествѣ яснаго, отчетливаго сознанія, или же въ качествѣ основного тона его безсознательной душевной жизни — слѣдуетъ, какъ намъ представляется, объяснить и фактъ его отступничества. Саббатіанское движеніе было наиболѣе яркимъ во всей исторіи еврейской діаспоры проявленіемъ протеста противъ психологіи приспособленія, покорности и терпѣнія, и если вспомнить при этомъ ту исключительную, хотя и понынѣ еще недостаточно оцѣненную роль, которую игралъ въ этомъ движеніи марранскій элементъ, то намъ станетъ еще понятнѣе и яснѣе, что непріятіе голуса должно было неминуемо привести къ такимъ эксцессамъ, какимъ является отступничество Саббатая-Цеви, повлекшее за собою переходъ въ исламъ и значительнаго числа его сторонниковъ. Марраны внесли въ саббатіанское движеніе особую страстность; ихъ тоска по національномъ освобожденіи была, естественно, несравненно глубже и острѣе, чѣмъ у всего остального еврейства, не только потому, что они извѣдали свою особую боль и въ ихъ жизни страданія за еврейство достигли кульминаціоннаго пункта, но и по другимъ еще, болѣе глубокимъ, психологическимъ причинамъ. Пребываніе въ марранствѣ, съ одной стороны, воспитало въ нихъ болѣзненную тоску по еврействѣ, но, съ другой стороны, оно обострило въ нихъ и стремленіе къ нормализаціи еврейской жизни. Какъ бы неискренне ни было то христіанство, которое марраны «исповѣдывали», они все же жили уже нѣкоторое время въ близкомъ общеніи съ болѣе счастливыми и нормальными народами, и это общеніе не могло не отразиться на повышеніи ихъ человѣческихъ потребностей и, запросовъ. На фонѣ той новой жизни, въ которую они были вовлечены, еврейскій голусъ долженъ былъ казаться особенно уродливымъ, и, вернувшись въ еврейство, марраны привнесли въ него и ощущеніе новыхъ, непримиримыхъ съ голусомъ, потребностей, особенно рѣшительное непріятіе голуса. Тотъ же Уріель Акоста,

который сорвать съ себя цѣпи католической инквизиціи и вернуться въ еврейство, — очутившись въ амстердамскомъ гетто, — почувствовалъ внутреннюю необходимость разорвать и цѣпи голусного равенства и гетто. Непріятіемъ гетто (въ широкомъ и символическомъ значеніи этого слова) и объясняется тотъ, на первый взглядъ, странный фактъ, что многіе марраны, возвращавшіеся въ еврейство, черезъ нѣкоторое время снова и добровольно его покидали. Мессіанское движеніе XVII-го вѣка, стремившееся къ уничтоженію гетто во всѣхъ его проявленіяхъ, должно было, поэтому, вызвать въ средѣ марановъ особенно глубокій энтузіазмъ, и нѣтъ сомнѣнія, что они внесли въ это движеніе элементъ крайней непримиримости и страстно-фанатическаго отрицанія голуса. Въ ихъ средѣ Саббатай-Цеви находилъ наиболѣе экзальтированныхъ поклонниковъ, которые, въ свою очередь, не могли не вліять и на своего вождя въ смыслѣ обостренія въ немъ того антиголуснаго начала, которое и безъ того глубоко коренилось во всей его натурѣ. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характернымъ является предсказаніе упомянутаго уже маррана-каббалиста А.-М. Кордозо, по которому избавленіе не можетъ наступить, пока всѣ евреи не будутъ обращены въ чужую вѣру: въ этомъ предсказаніи проявляется въ глухой и смутной формѣ то эксцессивное антиголусное броженіе, которое происходило въ марранскихъ кругахъ, заражало собою и другіе элементы еврейства и углубляло въ «героѣ» того времени, Саббатаѣ-Цеви, стремленіе къ преодолѣнію голуса если не возрожденіемъ еврейства, то какой-нибудь мучительной и гибельной для послѣдняго операціей.

Саббатай-Цеви готовился всю жизнь къ «исходу» изъ голуса. Онъ былъ увѣренъ, что есть *надземный* выходъ изъ голуса, и всѣ его мистическія пріуготовленія имѣли цѣлью найти ключи къ этому выходу. Когда же ему стало до очевидности ясно, что надземный выходъ наглухо закрытъ и всѣ его пріуготовленія остались безрезультатными, онъ бросился къ *подземному* выходу, ведущему въ раскрытую пропасть національнаго самоуничтоженія, но также приносящему избавленіе отъ голуса. Въ тотъ моментъ, когда Саб-

батай-Цеви надѣвалъ на свою голову турецкій тюрбанъ, онъ совершалъ, такимъ образомъ, то же преодолѣніе голуса, что и за всѣ годы его упражненій въ практической каббалистикѣ, обѣщавшей возложить на его голову корону короля Сіона...

Лишь полное разочарованіе въ собственныхъ силахъ, лишь глубокое душевное банкротство могло привести Саббатая-Цеви къ переходу въ исламъ. И если рабби Яковъ Эмденъ приводитъ въ своей, выше уже цитированной, книгѣ то толкованіе, по которому Саббатай-Цеви рѣшился на отреченіе отъ еврейства ради спасенія оттоманскихъ евреевъ отъ угрожавшей имъ, по его винѣ, опасности, то и это объясненіе доказываетъ лишь то, что въ моментъ отступничества онъ уже болѣе не вѣрилъ въ свое мессіанское призваніе. Ибо, если бы онъ и тогда продолжалъ вѣрить въ свои сверхъестественныя силы, способныя открыть еврейству надземный выходъ изъ голуса, то никакія угрозы со стороны турецкихъ властей не могли бы смутить его духъ: его экзальтированное воображеніе подсказало бы ему въ тотъ моментъ какой-нибудь другой путь спасенія, который соотвѣтствовалъ бы глубокому мистицизму его души.

То, что свершилось въ адріанопольскомъ дворцѣ, могло наступить лишь какъ результатъ гибели той, казалось, несокрушимой вѣры въ свое великое призваніе, которой Саббатай-Цеви жилъ, начиная съ нѣжнаго отроческаго возраста, и которая годами укрѣплялась въ немъ экзальтированными массами. Почему и какимъ образомъ эта вѣра въ немъ погибла — это составляетъ самостоятельный психологическій вопросъ, на который при скудости матеріаловъ и документовъ, относящихся къ саббатіанскому движенію, врядъ ли удалось бы найти удовлетворительный и болѣе или менѣе исчерпывающій отвѣтъ. Весьма возможно, что вѣра была въ немъ подточена его предателемъ, Нееміей Когеномъ, — этимъ, можетъ быть, единственнымъ въ то время каббалистомъ и провозвѣстникомъ мессіанскихъ временъ, который не увѣровалъ въ призваніе Саббатая-Цеви. О той бесѣдѣ, которая велась въ теченіе трехъ сутокъ между Саббатаемъ-Цеви и Нееміей Когеномъ въ галлипольской крѣпости, за нѣсколько дней до того, какъ первый былъ уве-

зенъ въ Адріанополь, мы знаемъ лишь то, что она причинила неисчислимыя испытанія Саббатаю-Цеви безчисленными разоблачительными доказательствами его «самозванства». Весьма возможно, что именно эта бесѣда и поколебала, а затѣмъ и погубила въ немъ вѣру въ самого себя. Прибытія Нееміи Когена изъ Польши галлиполькій узникъ ждалъ съ исключительнымъ трепетомъ, онъ возлагалъ на этого популярнаго въ еврействѣ каббалиста самыя широкія надежды и говорилъ своимъ приближеннымъ, что Неемія Когенъ будетъ шествовать передъ нимъ и расчищать для него дорогу къ великой славѣ. И именно онъ-то, Неемія Когенъ, оказался тѣмъ, кто въ обстановкѣ, накаленной вѣрой и энтузіазмомъ, рѣшился бросить ему въ лицо свое категорическое «не вѣрю». Надо поэтому думать, что въ гибели вѣры Саббатая-Цеви не послѣднюю роль сыгралъ Неемія Когенъ, почему-то не поддавшійся общему гипнозу. Ясно, однако, то, что, по тѣмъ ли, по другимъ ли причинамъ, Саббатай-Цеви передъ отступничествомъ пережилъ критическій моментъ пробужденія отъ тѣхъ чарующихъ сновъ и видѣній, которыя когда-то имъ овладѣли. Онъ пережилъ моментъ *отрезвленія* и передъ его глазами сталъ разстилаться во всей своей непривѣтливости тотъ міръ *дѣйствительности*, котораго онъ ранѣе, не зналъ и не признавалъ. Онъ посмотрѣлъ въ лицо дѣйствительности и сразу постигъ все свое безсиліе, всю невозможность того восхожденія, къ которому онъ порывался всю жизнь. Для него раскрылись два пути: вялый, безконечный путь голуса, и путь, ведущій къ раскрытой пасти бездны. Какой путь онъ могъ и долженъ былъ избрать? На путь голуса онъ заклялъ себя никогда не возвращаться — и онъ избралъ второй путь.

Адріанопольскіе царедворцы видѣли предъ собою жалкаго человѣка, склоняющаго голову передъ султаномъ и ученымъ муфтіемъ Ванни. Они не знали, что въ этотъ моментъ Саббатай-Цеви, подобно его предшественнику, Іосифу де-ла-Рейна, молчаливо совершаетъ сатанинское таинство мщенія жестокому Богу Израиля...

---

★

АНДРЕЙ СОБОЛЬ

# ВСТАНЬ И ИДИ

★

# ВСТАНЬ И ИДИ

## I

Какъ зовутъ его на самомъ дѣлѣ никто не зналъ, также не знали, гдѣ онъ родился и чѣмъ занимался въ Россіи до своего пріѣзда заграницу. Въ Парижѣ его звали Яковомъ Балцаномъ, въ Швейцаріи онъ жилъ подъ именемъ «господинъ Сурайскій», а когда я съ нимъ встрѣтился въ Италіи — онъ уже назывался Александромъ Гомельскимъ. Въ Италіи онъ купилъ ослика, телѣжку, задешево пріобрѣлъ старую шарманку, которая шипѣла, какъ шипятъ иногда разозлившіяся дряхлыя кошки, шарманку уложилъ на телѣжку, ослика разукрасилъ разноцвѣтными лентами — и такъ обошелъ всю Италію. А ослика онъ прозвалъ «товарищемъ Михаиломъ».

Встрѣтились мы въ маленькой деревушкѣ на берегу моря неподалеку отъ большого почтоваго города. Я жилъ въ этой деревушкѣ, а онъ направлялся на югъ. Я его сразу узналъ, хотя въ Парижѣ онъ носилъ бороду, а тутъ былъ бритъ и до смѣшного похожъ на ксендза изъ Литвы — высокій, худой, жилистый, длинноногій; былъ онъ въ шляпѣ съ огромными полями, въ коричневой бархатной курткѣ, а на шеѣ красовался ослѣпительно-голубой платокъ-галстухъ.

Онъ не сразу остановился, когда я его окликнулъ, но потомъ все же обернулся и, протягивая мнѣ руку, коротко сказалъ:

— А, это вы! — и схватилъ ослика за уши. — Товарищъ Михаилъ, назадъ.

Онъ переночевалъ у меня; за ужиномъ пилъ много, но не пьянѣлъ и мало, скупо говорилъ, только изрѣдка кидалъ два-три слова нехотя, туго.

— Славно тутъ... Хорошо отдохнуть... Говорятъ, евреи не любятъ выпить. Ерунда, клевета. Не вѣрьте. Ваше здоровье! Французскія вина тоньше, итальянскія грубѣе, а женщины наоборотъ...

Завести французскій погребъ и жениться на итальянкѣ — это не дурно. Въ антрактахъ можно фаршированную рыбу. Ваше здоровье!

Темнѣло медленно, и медленно тонулъ въ сумеркахъ его фантастическій голубой галстухъ съ развѣвающимися концами; загорались свѣтляки; въ вечерней дымкѣ таяла бѣлая колокольня Санта- Кроче. Было тихо и грустно.

А утромъ, когда подъ жгучимъ солнцемъ море покрылось молочно-бѣлыми пятнами, онъ ушелъ такъ же молча, какъ и пришелъ, погоняя ослика. Осликъ покорно поплелся впередъ; пестрѣли разноцвѣтныя ленточки, дребезжала телѣжка, кряхтѣли колеса, а Гомельскій шелъ позади — и скоро все это пропало тамъ, гдѣ отъ красной церкви расходились три дороги: на югъ, въ горы и къ портовому городу.

А часа три спустя горничная, прибирая комнату, гдѣ ночевалъ гость, нашла подъ кроватью небольшую записную книжку. Я спряталъ ее и все ждалъ: а вдругъ Александръ Гомельскій придетъ за своей книжкой и все поглядывалъ: не покажется-ли маленькій, потѣшный осликъ съ грустными умными глазами, невѣдомо почему прозванный «товарищемъ Михаиломъ».

Но день за днемъ тянулся, а онъ все не появлялся. Потомъ пожелтѣли виноградники, потемнѣло море — и пришла тягостная дождливая осень, скучная, какъ надоѣдливый гость.

Море шумитъ глухо-глухо. За балкономъ сѣть дождевыхъ брызгъ, подъ окномъ мокнетъ крохотная деревушка, а вечеромъ, когда море, небо и берегъ сливаются вмѣстѣ и тонутъ въ темнотѣ и только изрѣдка щурится огонь маяка на мысѣ Porto, я беру истрепанную записную книжку гдѣ на первой страницѣ древне-еврейская фраза «лехъ-лейхо», встань и иди — и цифры — «1908 — 1914 г.» — и читаю: вѣдь, я одинъ и неужели тотъ, ушедшій, одинокій, не проститъ мнѣ, тоже одинокому?

## II

«Все очень просто, нѣтъ ничего страшнаго на свѣтѣ — и все, все нечаянно и все случайно. Не страшно, когда любимая жена говоритъ тебѣ «уходи, я тебя разлюбила» — тогда открываютъ дверь, уходятъ во мракъ, во тьму навсегда, ибо нѣтъ возврата, ибо нѣтъ любви вѣчной и единой, но когда любимая, тѣло которой было твоимъ, глаза которой принадлежали только тебѣ, говоритъ тебѣ «жидъ»

и злобно отталкиваетъ тебя — тогда что? Гдѣ тогда сознаніе: все очень просто? И какъ забыть, какими словами оправдать, какимъ гнѣвомъ изсушить себя?

Бѣжать, бѣжать надо! Но куда и какъ уйти отъ сознанія безповоротнаго и какъ устоять на ногахъ послѣ того, какъ ударили тебя, послѣ того, какъ ты упалъ на землю и увидѣлъ, что неба нѣтъ надъ тобой, нѣтъ звѣздъ и нѣтъ радости?

Надо чуть чуть успокоиться и надо... бѣжать, бѣжать!

Я отвелъ ея руку и отвѣтилъ:

— Да, я жидъ, но развѣ ты объ этомъ раньше не знала?

Я сказалъ спокойно и даже закурилъ, отвѣчая. Я не люблю лишнихъ тѣлодвиженій.

Вечеромъ она стучалась ко мнѣ и просила:

— Впусти меня, впусти. Слушай, слушай, ты не понялъ меня, я нечаянно. Ты меня разозлилъ, ты былъ упрямъ, ну, я и потеряла голову. Слушай, впусти, ты поймешь, что я не нарочно.

А я всѣмъ тѣломъ навалился на дверь; потомъ я слушалъ, какъ жена плачетъ и глядѣлъ, какъ снѣжинки кружатся вокругъ фонаря.

Ночью я перечелъ всѣ ея письма — въ прочитанныхъ мною разсказахъ всѣ обманутые, разочарованные, оскорбленные и проч. мужья такъ поступали — и въ каждой строкѣ я находилъ то, что мнѣ нужно было, чего я раньше не видалъ: начало сегодняшняго конца. Потомъ я разорвалъ письма, поздравилъ себя и вспомнилъ священника, который меня крестилъ и крестную мать свою и вѣнчаніе наше. Мы вѣнчались на югѣ. Тогда цвѣли мимозы — за церковной оградой ихъ было много. Идя изъ церкви я говорилъ своей женѣ: ты нѣжная, ты нѣжная, какъ мимоза и ты пахнешь, какъ мимоза.

Да, нѣжная. Но развѣ долженъ и смѣетъ чертополохъ подходить къ мимозѣ? Тогда мимоза сворачиветъ свои листья, трепещетъ: non me tangere и кричитъ... Да, да, я знаю: нечаянно.

Когда она заснула, я осторожно подошелъ къ ея постели. О, мы народъ безъ сантиментовъ — это была послѣдняя вспышка сантиментальности. Я подошелъ, поглядѣлъ на нее, не помню, сколько я простоялъ, не знаю, минута промелькнула или часъ прошелъ, но, когда я вернулся въ свою комнату, я уже зналъ, что прошлое умерло, что возврата нѣтъ и не будетъ, что все лучшее въ душѣ затоптано и что пора проснуться. Уже свѣтало, потомъ показалось солнце — но глазамъ было больно отъ свѣта и меня всего пе-

редергивало отъ скрипа снѣга, отъ бодраго гула идущаго новаго дня. Человѣкъ всегда пугается, когда его будятъ внезапно, даже, когда ему за тридцать лѣтъ, даже, когда онъ аналитикъ и знаетъ, что неизбѣжно и живо старое велѣніе: «лехъ лехо», — встань и иди. Куда?

Къ обѣду явился Михаилъ, братъ жены. Онъ широкоплечій, плотный. У него волосы подстрижены бобрикомъ, онъ очень видный кооператоръ, у него всегда великолѣпные жилеты, а у меня борода и волосы въ безпорядкѣ, и я до сихъ поръ не знаю, какая разница между кооперацiей и акціонернымъ обществомъ, но мы работаемъ въ одной газетѣ, очень радикальной, такъ что мы какъ бы товарищи или, какъ онъ любитъ говорить, стоимъ на одной платформѣ.

Жена не вышла къ обѣду, Михаилъ почувствовалъ неладное, ушелъ къ моей женѣ, а, когда онъ вернулся и быстрымъ шагомъ направился ко мнѣ, смущенно и преувеличенно-громко зовя меня, уже на порогѣ держа наготовѣ протянутую руку, я догадался, о чемъ онъ хочетъ сказать, отвернулся и ушелъ съ нашей «общей платформы».

Ба, вѣдь мы люди безъ сантиментовъ и, если намъ не по себѣ на одной платформѣ — то переходимъ на другую.

Итакъ, въ путь. Я говорю себѣ:

— Вѣдь бродили же твои предки! (крестная мать, къ вамъ это не относится). Поброди и ты.

У меня въ рукахъ письмо Михаила. Я знаю, онъ поглаживалъ одной рукой свой бобрикъ, а другой писалъ мнѣ, что нельзя же, нельзя одно нечаянно вырвавшееся слово возводить въ нѣчто огромное, это уже черезмѣрная болѣзненная чувствительность. Что жъ подѣлаешь, товарищъ Михаилъ, я ужъ изъ такого тѣста и — на всѣхъ перронахъ вокзаловъ всего міра я буду рекламировать свою боль.

## III

Куда итти, какому Богу молиться, какія молитвы шептать, когда глаза дороги не видятъ, когда уши глухи ко всему, и знаю я только одно: встань и иди.

Въ Салоникахъ старый еврей въ фескѣ, похожій на турка, угощаетъ меня чернымъ кофе, бесѣдуетъ со мной на ломанномъ нѣмецкомъ языкѣ и разспрашиваетъ о погромахъ. Онъ когда-то дав-

но слышалъ слово «Кишиневъ» и запомнилъ его. И еще спрашиваетъ: слышали-ли мы, живущіе въ Россіи, о томъ, что творилось у нихъ, какъ разрушали ихъ жилища и вѣрятъ-ли русскіе евреи въ приходъ дня свободы и объединенія. Я отвѣтилъ ему:

— Да, когда бьютъ еврея въ Салоникахъ — плачетъ еврей въ Гомелѣ.

Я плохо говорю по — нѣмецки, онъ еще хуже.

Передъ нами шумная улица, снуютъ греки, турки, арабы, мелькаютъ котелки, чалмы, закутанныя женщины, горланятъ люди, кричатъ ослики, хлопаютъ бичи, — и подъ гулъ и шумъ два еврея стараются другъ друга понять и не могутъ, а небо надъ ними голубое.

Да, бьютъ въ Салоникахъ одного, а другой за тысяча верстъ идетъ въ церковь и говоритъ своей возлюбленной: ты нѣжна, какъ мимоза, ибо нѣсть эллина и іудея.

Подъ вечеръ я взялъ лодочника и выѣхалъ въ море. На пароходахъ горѣли огни, играла музыка. Я вспомнилъ, какъ два года тому назадъ я былъ съ женой на озерѣ Свѣтояръ и какъ она разсказывала мнѣ о градѣ невидимомъ и о томъ, что придетъ часъ и зазвонятъ его колокола, неся миръ и свѣтъ ясный.

Пусть звонятъ — я все равно не услышу, все ложь. И вдругъ въ отраженіи пароходныхъ огней на водѣ я увидѣлъ бобрикъ товарища Михаила. Я крикнулъ лодочнику:

— Назадъ.

Онъ не понялъ меня. Я вырвалъ весло и ударилъ по водѣ.

Опять я въ пути, въ безконечномъ пути.

Но не насмѣшка-ли надъ всѣми законами слово: еврей-бродяга?

Въ Мессинѣ я пью какое то странное вино, а улицы полумертвыя и чудится: все еще бродятъ безумные, оглашая развалины дикими криками.

Словно *мой* городъ, но я не кричу, я тихо — тихо сижу въ недостроенномъ кафэ и гляжу на городъ тѣней и на тѣни — людей.

Знаю: ночью буду думать о Россіи; знаю: ночью я буду бродить по русскимъ полямъ.

Я кладу кирпичъ за кирпичомъ, но стѣна медленно растетъ, а вѣдь мѣсяцы бѣгутъ. Я плохой строитель и, когда я карабкаюсь вверхъ съ кирпичомъ, меня легко снизу схватить за пятку.

Я боюсь за свою пятку, я ей не довѣряю — надо быстрѣе, быстрѣе перебирать ногами.

Шумитъ, гудитъ Парижъ — нѣжный и вызывающій, чуткій и

злой, веселый и пасмурный, каждый часъ другой, каждый мигъ мѣняющійся, но всегда, всегда невѣрный и прекрасный.

Парижъ — моя узловая станція.

Первый звонокъ... Куда?...

На St. Michel покупаю русскія газеты, въ нихъ безотрадная грусть, словно въ дождливый день попалъ въ затерявшуюся рощу, а за рощей кричитъ куликъ на болотѣ.

Деньги приходятъ къ концу — тѣмъ лучше.

Хочу вспомнить и не могу: что захватили мои предки, уходя изъ Египта?

Въ библіотекѣ св. Женевьевы тепло и тихо — можно спокойно, не торопясь перелистывать книгу и читать о томъ, какъ много лѣтъ тому назадъ огромныя толпы шли изъ страны въ страну. Тогда не было желѣзныхъ дорогъ, но зато была вѣра.

Кто дастъ мнѣ ее? — никто. И къ чему она? — это предметъ излишней роскоши.

«И строили они Пиѳомъ и Рамсесъ»...

## IV

Въ понедѣльникъ утромъ въ булочной мосье Бориже мнѣ отказали въ кредитѣ.

Надъ Парижемъ небо виситъ мокрой тряпкой и даже на большихъ бульварахъ пусто и глухо, точно въ деревнѣ въ зимнюю вьюжную ночь.

У единственной моей знакомой изъ русскихъ, у Ривочки Менагидъ, кошелекъ скучно валяется на этажеркѣ, сморщенный, какъ губка, изъ которой только что выжали послѣднюю каплю воды.

— Мы будемъ надѣяться и ждать, — говоритъ Ривочка.

— Чего?

— Чуда.

Она еще вѣритъ въ чудеса — худенькая, тоненькая Ривочка, та самая, что такъ любитъ Толстого и такъ путаетъ буквы «ш» и «с».

Кромѣ Толстого Ривочка еще любитъ «Кнута Гамсуна» и меня, — ей холодно въ Парижѣ, онъ давитъ ее, пугаетъ, огромный и непонятный ей — и я вижу, какъ она тянется ко мнѣ и какъ ждетъ отвѣта.

Когда я пью абсентъ — она блѣднѣетъ и проситъ:

— Не надо, — а потомъ ведетъ меня, слегка шатающагося, по темнымъ заснувшимъ улицамъ и все спрашиваетъ:

— Ну, Яковъ, куда теперь: направо или налѣво?

Я отвѣчаю:

— Никуда.

Но Ривочка знаетъ: никуда — это нелѣпо, такъ отвѣчаютъ только подвыпившіе — и ведетъ меня на угадъ, а Парижъ разстилается все шире и шире.

— Ну, Яковъ, а теперь куда? — безнадежно допытывается Ривочка, а мимо проносятся автомобили, огнеглазые, безшумные въ ночи и въ ночи же пропадаютъ таинственно.

Четвертый день, какъ я уже не бываю у Ривочки, а голова кружится отъ голода, невольно поднимаешь ее вверхъ и прочитываешь всѣ вывѣски. Позже рѣзь въ желудкѣ — тогда уже глаза впиваются въ витрины магазиновъ, но почему-то всегда въ витрины гастрономическихъ лавокъ, булочныхъ и мясныхъ.

На rue Rivoli я останавливаюсь. Какъ всегда эта улица сверкаетъ огнями, точно кокотка поддѣльными драгоцѣнностями отъ Тэта.

Еще минуту — и я упаду и знаю: тогда уже кончено, тогда уже не подняться и нѣтъ Ривочки, которая могла бы сказать:

— Ну, Яковъ, я прошу васъ, встаньте.

Усиліе, другое — и я иду дальше. Я на rue des Ecauffes, гдѣ всѣ лавченки и ресторанчики еврейскіе, гдѣ всѣ вывѣски на еврейскомъ языкѣ и гдѣ за стойками, обычными французскими стойками, стоятъ тарелки съ рубленой печенкой, плаваютъ въ желтомъ соусѣ куски фаршированой рыбы.

Уличка эта темная, узенькая, освѣщенная рѣдкими фонарями, словно осколокъ Минска или Гомеля, какимъ-то чудомъ перенесенный и брошенный въ каменную гущу Парижа. Она говорливая, шумная, заполненная дѣтворой, обклеенная еврейскими афишами, заставленная прилавками съ еврейскими газетами и такъ часто мелькаютъ на ея скользкой мостовой старухи въ платкахъ и старики въ старомодныхъ картузахъ.

И на этой улицѣ произошла моя встрѣча съ господиномъ Перельманомъ — директоромъ еврейской труппы изъ Филадельфіи, онъ же бывшій приказчикъ чайного магазина на Трокской улицѣ въ Вильнѣ.

Я сидѣлъ на тротуарѣ у порога какого-то ресторанчика, а въ это время господинъ Перельманъ выходилъ изъ ресторана; ему въ догонку кричали по еврейски.

— Господинъ Перельманъ, вы еще пожалѣете! а господинъ Перельманъ отвѣчалъ:

— Э, это мы увидимъ.

Глядѣлъ онъ въ сторону, ногой задѣлъ меня и пошатнулся.

Я медленно приподнимался на локтѣ. Онъ нагнулся ко мнѣ:

— Гдѣ вы такъ здорово напились? А еще еврей.

Тогда я просто сказалъ:

— Я четыре дня ничего не ѣлъ.

Минуты черезъ двѣ онъ ужъ велъ меня въ ресторанъ. Я шелъ покорно, я ни о чемъ не думалъ: я былъ голоденъ, а близко пахло мясомъ и хлѣбомъ — и этимъ все сказано.

Уже на порогѣ господинъ Перельманъ кричалъ сиплымъ баскомъ:

— Мадамъ Фихтманъ, порцію лапши и печенки! — а ему навстрѣчу изъ-за столика поднимался маленькій худенькій еврей въ желтой шляпѣ и шепелявилъ:

— Вы все-таки вернулись, господинъ Перельманъ, я вамъ говорилъ что вы еще пожалѣете.

— Не къ вамъ, Мерчикъ, успокойтесь! — отрѣзалъ господинъ Перельманъ.

Дымилась лапша, чудесно пахла печенка, а рядомъ со мной господинъ Перельманъ отчитывалъ Мерчика, Мерчикъ жалобно оправдывался, и оба говорили о какихъ-то удивительныхъ непонятныхъ вещахъ:

— Господинъ Перельманъ... Я вамъ говорю, дайте мнѣ Грузенберга, и я оправдаю ваши надежды. Господинъ Перельманъ... Я и мой цилиндръ... Живой Грузенбергъ будетъ передъ вами...

— Мерчикъ! — тянулъ Генри Перельманъ. — Вѣдь вы двухъ словъ не можете связать, вы шепелявите, а вашъ цилиндръ въ Пьетѣ. Тоже адвокатъ! Во первыхъ, Грузенбергъ человѣкъ съ фигурой, а вы грибъ. Берете Пранайтиса? Такъ ужъ быть Пранайтиса я вамъ дамъ...

Я доѣлъ лапшу, поднялъ голову, взглянулъ на Генри Перельмана, мигъ — и вдругъ Генри Перельманъ подскочилъ и со всего размаха ударилъ меня по плечу, крича:

— Живой Пранайтисъ, честное слово, только бороду долой. Это я понимаю, это находка.

Я недоумѣвалъ, но черезъ нѣсколько минутъ у меня въ карманѣ лежалъ пятифранковикъ въ видѣ аванса, а до аванса былъ краткій діалогъ.

— Не надуете?

— Я не мошенникъ.

— Вашъ адресъ.

— Бульваръ Санъ-Жакъ, номеръ...

— Хорошо, будьте здоровы. Эй-эй, постойте. Балцанъ мнѣ не нравится. Ваша фамилія будетъ... будетъ... Оппенгеймеръ. Недурно, а?

А часа два спустя Ривочка ѣла свой любимый шукрутъ, запивая его гренадиномъ и все спрашивала:

— Ну, вы работу нашли? Ну, не можетъ быть?

Я отдыхалъ. Какъ всегда, вышли вмѣстѣ. Я проводилъ ее до дому, а у дверей остановился. Я зналъ: только протянуть руку — и близко, совсѣмъ близко подойдутъ дѣвичьи глаза, согрѣютъ, придетъ тропинка... Пойдешь прямо... пойдешь влѣво... Я снялъ шляпу и отошелъ. Было холодно, холодно.

Парижъ мокъ подъ дождемъ. Запоздавшая проститутка окликнула меня. Я ей сказалъ, что завтра я снимаю бороду и поступаю въ монастырь. Она попросила франкъ. У меня было всего 50 сантимовъ. Мы подѣлились и пожелали другъ другу спокойной ночи.

Помню: на ней было бѣлое платье. У фонаря я замѣтилъ, что оно все промокло и, какъ трико, липнетъ къ тѣлу. Я ускорилъ шагъ. Подъ мостомъ на какой-то баржѣ мигалъ огонекъ.

## V

Въ зданіи кинематографа «L'oiseau d'or» рабочіе перестраиваютъ эстраду. Надъ входомъ два француза прибиваютъ кусокъ полотна съ аршинными буквами: «гастроли еврейской труппы изъ Филадельфіи.» На наружныхъ стѣнахъ треплются подъ вѣтромъ разноцвѣтныя афиши съ жирными строками «Мендель Бейлисъ, пьеса въ пяти дѣйствіяхъ, всюду колоссальный успѣхъ.»

Генри Перельманъ подводитъ меня къ угрюмому въ прыщахъ актеру:

— Будьте знакомы, мой главный — Мендель Бейлисъ.

Тотъ кланяется:

— Джоржъ Зиссеръ.

И я кланяюсь:

— Шарль Оппенгеймеръ.

На репетиціи онъ училъ меня. Генри Перельманъ потираетъ ладони:

— Великолѣпно! Вылитый Пранайтисъ.

Я получаю отъ Генри Перельмана еще 15 франковъ, а отъ Джоржа Зиссера наставленіе:

— Учитесь у меня, слѣдите за моей походкой, прислушивайтесь къ моей интонаціи, и вы будете актеромъ.

Къ вечеру оказывается, что Джоржъ Зиссеръ любитъ иногда выпить, но онъ быстро пьянѣетъ и плачетъ:

— Я погибаю. Когда-то я любилъ театръ, а теперь я его ненавижу, но я ѣсть хочу. Шарль, я погибаю. Въ Бердичевѣ у меня жена и дѣти, а тутъ мнѣ не даетъ покою — вотъ эта! — И онъ указываетъ на г-жу Эльзу Шрубъ, она же Вѣра Чебырякъ. У Эльзы Шрубъ тройной подбородокъ и плоскіе ногти, но чудесные черные глаза съ поволокой.

Въ трезвомъ видѣ онъ бубнитъ:

— Я и еврейскій театръ.. Я и Адлеръ... Я и Зонненталь.

Эльза Шрубъ кричитъ:

— Михель, опять за вино!

Два дня спустя къ намъ присоединяется Аронъ Фарберъ — Грузенбергъ, курчавый веселый актеръ, бывшій педлеръ, знающій анекдоты всего міра и пѣсенки и прибаутки на всѣхъ языкахъ. За день до генеральной репетиціи Джоржъ Зиссеръ ушелъ тайкомъ отъ Эльзы Шрубъ — и мы втроемъ засѣли въ кафэ до разсвѣта. Послѣ первой бутылки Джоржъ Зиссеръ началъ по обыкновенію:

— Я погибаю...

Я крикнулъ, не вытерпѣвъ:

— Бросьте ломаться.

А Фарберъ пересталъ смѣяться, скомкалъ начатый анекдотъ и еле слышно сказалъ:

— Онъ не ломается. Онъ хорошій человѣкъ. Его изломали.

Стало тихо. На разсвѣтѣ Джоржъ Зиссеръ привязался къ Фарберу:

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, кто мы. Нѣтъ, ты мнѣ объясни, почему я не продаю сукна, а ты не покупаешь муки? Объясни и дай мнѣ десять франковъ взаймы. А, жалѣешь! Грузенбергу жалко дать Бейлису десять франковъ? Педлеръ, въ Америкѣ я бы съ тобой не раскланивался.

На генеральной репетиціи я не во время перебилъ предсѣдателя суда, нечаянно наступилъ на платье г-жи Эльзы Шрубъ и раньше, чѣмъ слѣдовало, обернулся къ присяжнымъ засѣдателямъ.

Странно: вѣдь роль-то я знаю на зубокъ. Когда-то игралъ одну роль, гдѣ дѣйствіе происходило въ церкви, и гдѣ росла мимоза, почему же теперь я путаю реплики?

Noli me tangere... Господа судьи, я могу сказать съ спокойной совѣстью, что всѣ евреи, начиная съ подсудимаго, лгутъ, когда говорятъ, что... (дѣйствіе II, явл. 5-ое)...

## VI

Сейчасъ поднимется занавѣсъ. Я въ гримѣ, гляжу въ зеркало — дѣйствительно, я вылитый Пранайтисъ. Рядомъ со мной м-ме Мэри Штернъ, по пьесѣ подруга Вѣры Чебырякъ. Она разсказываетъ мнѣ, какъ въ прошломъ году ей объяснился въ любви румынъ изъ Бухареста и предложилъ ей руку и сердце, но она до сихъ поръ не знаетъ, какъ ей быть.

Она совѣтуется со мной. О, конечно, конечно, принять, надо обѣими руками ухватиться, тѣмъ болѣе, когда руки красныя и пахнутъ яичнымъ мыломъ.

Звонокъ, я бѣгу на сцену и опять наступаю на подолъ юбки Эльзы Шрубъ. Игра начинается, я въ ударѣ, я это чувствую, уроки Джоржа Зиссера не пропали даромъ, но почему, почему такъ тревожно на душѣ, словно наканунѣ вѣсти неожиданной и жуткой?

Молодежь, заполнившая заднія скамьи, свиститъ при каждомъ моемъ выходѣ.

— Э, это политика? — улыбается Генри Перельманъ во всю ширину лица и хлопаетъ меня по плечу. — Пусть это васъ не огорчаетъ.

Меня? Помилуйте, развѣ я не знаю, что такое «политика» и развѣ я не стоялъ когда-то на общей платформѣ.

Когда судъ кончился — загрохотали скамьи, и кто-то изъ публики пустилъ въ меня гнилымъ яйцомъ. Яйцо попало въ щеку, и вонючая жидкость поползла по шеѣ.

Отвратительная гниль на моемъ лицѣ, на моихъ рукахъ, я задыхаюсь. Такъ вотъ она вѣсть неожиданная — теперь и я пахну.

Точно мимоза. Точно мимоза молодая.

Я бѣгу въ угловое крошечное кафэ, гдѣ меня обычно ждетъ Ривочка. Завидѣвъ меня издали, она встаетъ, обрадованная, осчастливленная моимъ приходомъ.

Я схватываю ее за руку:

— Ривочка!

— Ну? — пугается Ривочка.

— Ривочка, я домой хочу, домой!

Она загораживаетъ меня отъ посѣтителей, нагибается ко мнѣ:

— Ну, идемъ! Ну, тише. Яшенька! Ну, идемте домой!

— А гдѣ домъ мой, гдѣ домъ мой? — спрашиваю я и хочу и жду отвѣта, словно чуда, словно великаго благостнаго чуда.

— Гдѣ? На Санъ-Жакѣ, — торопливо, тревожно отвѣчаетъ Ривочка и тянетъ меня за рукавъ.

* * *

Довольно, надо сознаться: я усталъ. И надо еще въ одномъ сознаться: довольно игры, иначе крышка, какъ моей покойной бородѣ, погибшей во имя святого искусства. Довольно, я хочу отдохнуть, я просто, животно хочу солнца, зелени и... ни одного еврея.

Я нажимаю всѣ кнопки, дѣлаю героическія усилія — и вотъ я въ Италіи. Радостно горитъ солнце. Въ моей странѣ солнце никогда не радовалось. Я подсчиталъ свои капиталы и увидалъ, что могу начать новую жизнь разумно: я нашелъ удивительную шляпу, не менѣе удивительный голубой галстухъ, а въ придачу прекрасную бархатную куртку съ неимовѣрнымъ количествомъ кармановъ. Я могу теперь смѣло разсовать по карманамъ мою прошлую глупую и смѣшную вѣру. Я переодѣлся. Я очень живописенъ.

Телѣжка куплена, шарманка тоже, — дѣло за осликомъ. Какъ же безъ осла?

Я продаю свой старый костюмъ прибавляю послѣднія лиры — и осликъ есть. Я вывелъ его на берегъ моря, окатилъ его морской водой и назвалъ его «товарищемъ Михаиломъ».

Каюсь, но это послѣдняя дань прошлому. Когда-то было сказано умное слово: въ каретѣ прошлаго далеко не уѣдешь. Но на ослѣ прошлаго?

Итакъ, мой оселъ, въ путь!

---

# ОГЛАВЛЕНІЕ


Стр.

**Х. Н. Бяликъ**
Галаха и Агада . . . . . 9

**С. Черниховскій**
Завѣтъ Авраама . . . . . 35
Вареники . . . . . 49

**Х. Гринбергъ**
Борьба за національную индивидуальность . . . . . 59

**Х. Н. Бяликъ**
Передъ книжнымъ шкафомъ . . . . . 93

**С. Ан—скій**
Встрѣча . . . . . 99
Осмѣяніе . . . . . 103

**И. Бунинъ**
Благовѣстіе . . . . . 113

**Г. Шофманъ**
Ганя . . . . . 117
На посту . . . . . 120
У дороги . . . . . 122

**В. Брюсовъ**
Библія . . . . . 133

**Х. Н. Бяликъ**
Подъ оболочкой языка . . . . . 137

**Л. Яффе**
Erez Israel . . . . . 147
Въ омаровой мечети . . . . . 149
Въ долинѣ Сарона . . . . . 150

**С. Дубновъ**
Воспоминанія объ Абрамовичѣ . . . . . 153

**С. Маршакъ**
Іерусалимъ . . . . . 175

**Х. Тадиръ**
Мессія . . . . . 179

**Андрей Соболь**
Встань и иди . . . . . 195

Stanford University Libraries
3 6105 015 006 351

PG
3227
.S3
v.1

DATE DUE

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

MAY 23 2001
APR 03 2001

MAR
APR 26 2002